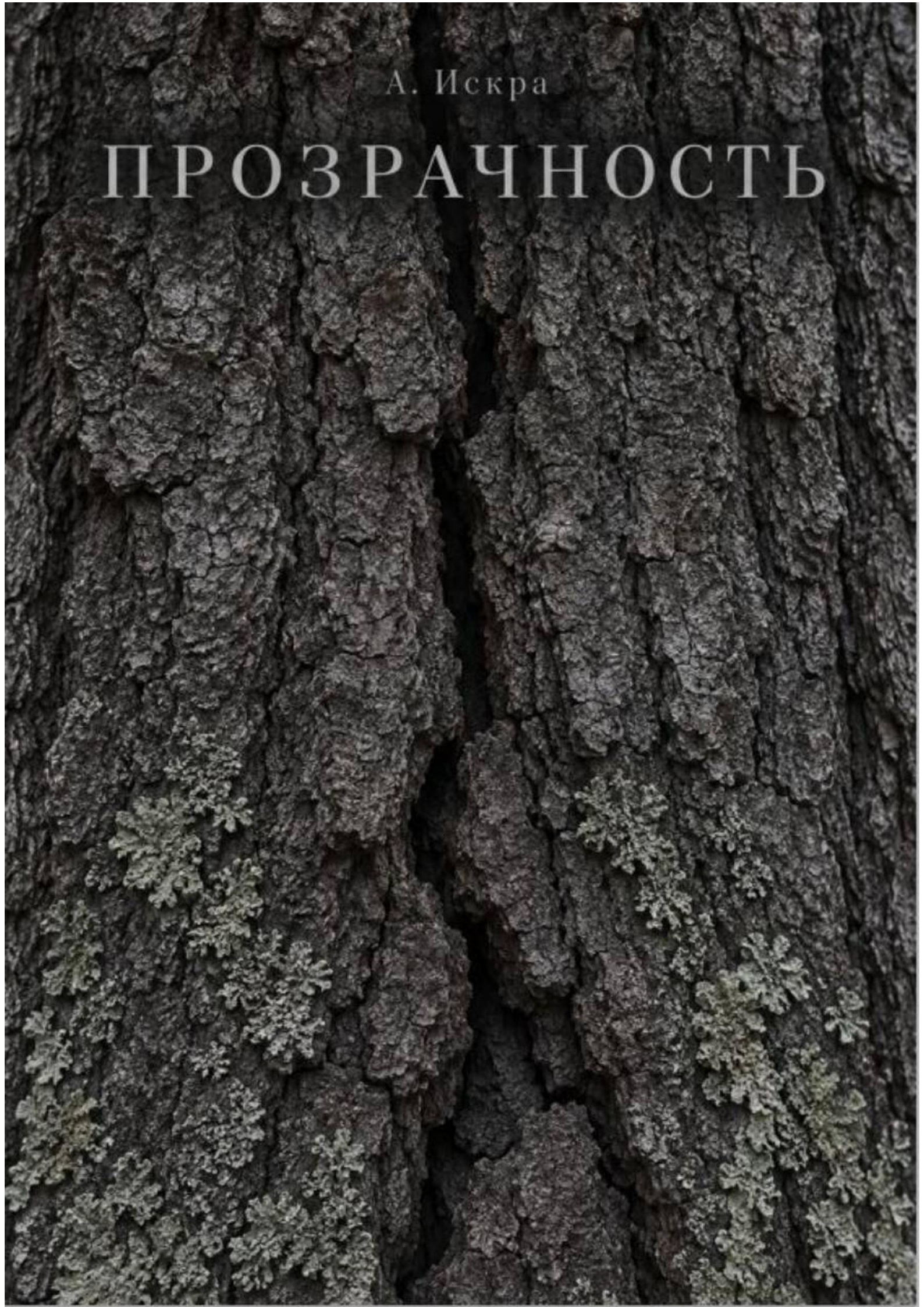

А. Искра
ПРОЗРАЧНОСТЬ

А Искра

Прозрачность

«Автор»
2026

Искра А.

Прозрачность / А. Искра — «Автор», 2026

Что, если человек, которого ты любишь больше всего, видит совершенно другой мир? Отец замечает, что его сын воспринимает реальность иначе. Переставленная игрушка становится незнакомой, а привычная комната — чужой. Чтобы понять сына, он решается на необычный эксперимент: постепенно отказаться от привычных значений, названий, ощущений и границ вещей. Он надеется найти точку, где их два мира наконец совпадут. Но чем дальше он заходит, тем страшнее становится цена понимания. Ведь, пытаясь увидеть мир глазами другого, можно потерять самого себя. Философский роман о любви, отцовстве и границах человеческого восприятия. История о том, как далеко мы готовы зайти ради близкого человека и почему настоящая близость не всегда требует одинакового взгляда на мир.

© Искра А., 2026
© Автор, 2026

А Искра
Прозрачность

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Роман о спуске, который не сработал
А. Искра

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРОЛОГ. Даром
ЧАСТЬ I. ДОМ
1. Родился ребёнок
2. Первый месяц: всё как у всех
3. Взгляд, который проходит мимо
4. Объяснения, которые ещё держатся
5. Красная лягушка
6. Я стал проверять
7. Комнату переставили, и он потерялся
8. Диван сдвинули на ладонь, и он потерялся тоже
9. Что говорят врачи и чего они не говорят
10. Слово, которое всё объясняет и ничего не даёт
ЧАСТЬ II. ПРАВИЛО
11. У него есть последовательность
12. Он узнаёт то, чего мы не узнаём
13. И не узнаёт того, что для нас очевидно
14. Фигурка, пальцы и движение пальцев — одно
15. Слепые пятна: чего он не видит никогда
16. Он не оракул
17. Мы не можем встать на его место
ЧАСТЬ III. ЗАМЫСЕЛ
18. Если не можем встать — можем спуститься
19. Дно, на котором все равны
20. Участок: яблоня, трава, скворец, собака, рука
21. Мгновенность: почему не бывает паузы перед узнаванием
22. Два стола Эддингтона
23. Правило отказа: снятым нельзя пользоваться тайком
24. Почему у спуска нет хронологии
ЧАСТЬ IV. ЛЕСТНИЦА ЗНАЧЕНИЯ
25. Лестниц будет четыре, и они разного рода
26. Род и вид: узнавание без имени
27. Назначение: исчезает съедобное
28. «Своя»: самое дорогое различение
29. Собачье ухо, повёрнутое к дороге
30. Дома: я перестал отзываться на его подходы
ЧАСТЬ V. ЛЕСТНИЦА ПЕРЕВОДА
31. Цвет — электромагнитное излучение
32. Зелёный, который проходит насквозь
33. Звук — колебание молекул воздуха

34. Скворец толкает воздух
35. Тишина, полная давления
36. Запах — молекулярная форма
37. Скошенная трава: сигнал повреждения
38. Сладость, которую можно обмануть
39. Тепло — распределение скоростей
40. Бок собаки как статистика
41. Дома: тетрадь, которую вела она
ЧАСТЬ VI. ЛЕСТНИЦА МАСШТАБА
42. Вещество: атом как пустота
43. Плотность как эффект
44. Касание: механизм, а не иллюзия
45. Ревизия: три подмены из пяти
46. Частица — возбуждение поля
47. Кирпичиков нет
48. Граница материи — вероятность
49. Край яблони как убывание амплитуды
ЧАСТЬ VII. ЛЕСТНИЦА ОТДЕЛЬНОСТИ
50. Где кончается яблоня
51. Грибница под корнями: тело без края
52. Живое: граница с неживым не находится
53. Собака как сообщество
54. Две вещи были допущением
55. Одновременность
56. Место реза, у которого нет имени
57. Дома: я взял его за руку и не понял, что взял
ЧАСТЬ VIII. ПЕНА
58. Почему «пена» — неточное слово
59. Считывание без считывающего
60. У амплитуды нет вида
61. Вероятность никому не дана
62. Обратная комната Мэри
63. Чего это не доказывает
64. Полный счёт
65. Хлебный киоск
66. Почему я всё-таки был прав
67. Пустая зима
ЧАСТЬ IX. ВОЗВРАТ
68. Первым возвращается край
69. Тепло раньше света
70. Звук приходит уже голосом
71. Зелёный
72. Лицо: форма, через которую дан другой
73. Ошибки сборки
74. Задержка руки: то, что не вернулось
75. Имя приходит последним
ЧАСТЬ X. ВСТРЕЧНЫЙ РЕЗ
76. К другому не приходят стиранием себя
77. Общее не находят, его проводят

78. Первое совместное различение: маленькое и рукотворное
79. Он сделал шаг, и я увидел, чего этот шаг стоит
80. Чем он платит за наш мир
81. Чем мы платим за его
82. Нет стороны до реза
83. Почему «оригинала» не существует
84. Взгляд ниоткуда
85. Чего эта книга не обещает
86. Кому дан мир
ФИНАЛ. Яблоня
ПРИЛОЖЕНИЯ
A. Четыре лестницы: что снималось, что оставалось
B. Где физика, где огрубление, где образ
C. Словарь
D. Соседи и оппоненты

ПРОЛОГ. Даром

На участке стоит старая яблоня.

От развилки вниз идёт трещина. Вверху узкая, к земле расширяется, и в ней сидит серый лишайник, сухой и жёсткий. Ниже трава, невысокая, ещё мокрая с ночи. Один лист на нижней ветке надломлен у черешка и висит изнанкой вверх, и изнанка светлее лицевой стороны. Собака лежит в тени, боком к солнцу, и ухо у неё повёрнуто к дороге, хотя на дороге пусто. В ветвях сидит скворец и поёт — коротко, с щелчками, будто внутри у него работает что-то механическое.

Я кладу руку на кору.

Всё это прочитано раньше, чем я на него посмотрел. Не было доли секунды, в которую кора была бы серым пятном, а потом стала корой. Не было промежутка, в котором звук висел бы неопознанным, пока его разбирают. Скворец слышен сразу скворцом. Трава сразу мокрой. Собака сразу своей. Ничто не предъявляется сначала как материал, из которого потом собирают вещь. Всё приходит готовым, и приходит даром.

Даром — так это выглядит.

Плата вносится, просто не здесь и не сейчас. Эддингтон писал о двух столах: один тот, за которым он пишет, — плотный, коричневый, устойчивый; другой почти целиком пустота, редкие заряды, летящие с огромными скоростями. Стол один. Столов два. Первый дан, второй вычислен, и вторым принято считать то, как обстоит дело.

Демокрит сказал это за две с половиной тысячи лет до Эддингтона и грубее: сладкое — по установлению, горькое — по установлению, цвет — по установлению, в действительности атомы и пустота.

Я читал их обоих поздно, ночами, и не из интереса.

Если всё, что приходит даром, есть перевод, значит между мной и тем, на что я смотрю, натянуто полотно. Полотно хорошо расписано, но оно полотно. За ним — как есть на самом деле, без перевода, без установления, без чьей бы то ни было доли участия.

Проверить это можно одним способом: снимать по одному.

Не сразу всё. Сразу всё означало бы не иметь возможности сказать ни слова. Снимается одно различение, и смотришь, что ещё можно после этого сказать. Правило простое, и оно тут единственное: снятым нельзя пользоваться тайком, называя его другим словом.

Снимаю первое. Пусть яблоня не будет яблоней.

Убрать имя оказывается легче, чем можно подумать. Достаточно перестать подводить это под род.

Мутнее не становится. Наоборот, подробностей делается больше, потому что раньше они уходили в имя и там гасли. Из земли поднимается нечто, идущее вверх и делящееся; ниже деления оно толстое и тёмное, выше тоньше и светлее. По всей длине покрыто твёрдым слоем, слой разошёлся, и в разрыве держится другое, серое, живущее на этом слое и не уходящее в него. Ближе к концам ветвлений висят плоские зелёные пластины, повёрнутые широкой стороной к небу, и одна надломлена и вывернута светлой стороной наружу. Все они слабо шевелятся, хотя ветра почти нет.

Это по-прежнему совершенно точное описание. Пропало только то, что всё перечисленное складывалось во что-то одно и это одно имело имя.

И вместе с именем ушло то, чего я не заказывал.

Ушёл возраст: старым бывает дерево, а то, что стоит передо мной, не старое и не молодое, оно просто такое. Ушла осень как обещание — некому плодоносить.

И ушло «посадили».

Мы посадили её в апреле, за месяц до его рождения. Жена тогда уже тяжело ходила и сказала, что сажать надо сейчас, потому что потом будет не до того. Яма, ведро воды, колышек. Дерево принялось.

Всё это никуда не делось. Апрель был, яма была, вода была. Но того, вокруг чего оно собиралось, больше нет: у нечто, идущего вверх и делящегося, не может быть года посадки, потому что не может быть его самого — отдельного, одного, длящегося от апреля до сегодняшнего утра.

Отказ был один, а обвалилось несколько. И обвалилось не там, где я снимал.

При этом рука по-прежнему лежит на коре, и кора твёрдая. Собака по-прежнему своя. Скворец поёт, и песня — песня. Пол поехал в одном месте, остальное стоит.

Стоит перестать отказывать — и имя возвращается мгновенно. Оно не собирается по частям, не восстанавливается усилием, не требует ни секунды. Оно просто снова здесь, целиком, вместе с возрастом, осенью и апрелем.

Дальше тревожит по-настоящему. Не то, что имя удалось снять. А то, как мало для этого понадобилось — и как мало понадобилось, чтобы вернуть.

Если одно допущение снимается за секунду и уносит с собой апрель, то сколько ещё таких допущений держит этот участок. Твёрдость. Зелёное. То, что скворец поёт, а не давит на воздух. То, что у яблони есть край. То, что собака одна. То, что всё это происходит одновременно.

Жена однажды спросила из окна, что я тут делаю.

— Стою, — сказал я.

Это была правда. Со стороны я стою у дерева, положив на него руку, и ничего не происходит.

В доме за моей спиной спит мой сын. Ему четырнадцать лет. Он ест, растёт, смеётся, знает наизусть расписание автобусов и может час стоять у окна, глядя туда, где для меня нет ничего.

Я не знаю, как устроен его день.

Ради этого я и стою здесь и вынимаю из мира по одному креплению — в надежде, что если снять достаточно, то внизу останется что-то общее. Место, где нет ни моих различений, ни его. Дно, на котором можно наконец встретиться.

Рука на коре. Трещина идёт от развилки вниз и к земле расширяется.

Снимаю следующее.

ЧАСТЬ I. ДОМ

1. Родился ребёнок

Всю беременность я боялся, что не почувствую.

Про это не говорят вслух, но я читал форумы ночами, когда она уже спала, и знал, что так бывает: приносят, а внутри ничего. Я готовился к этому как к позору. Жена ходила с животом,

разговаривала с ним, клала мою руку, когда он толкался, и спрашивала — чувствуешь? Я чувствовал толчок. Но это был толчок, а не он.

Схватки начались в среду вечером, на ужине.

Она поставила тарелку и сказала спокойно:

— Кажется, началось.

— В смысле началось?

— В смысле поехали.

Я собрал сумку, которая стояла собранной три недели, и трижды проверил документы, которые лежали сверху. Потом искал ключи от машины, которые были в кармане.

По дороге она дышала. Между схватками говорила нормально, даже пошутила про светофор, а на схватке замолкала и клала ладонь на приборную панель. Я гнал и оглядывался и один раз чуть не проехал на красный, и она сказала, не открывая глаз:

— Не убей нас, пожалуйста.

В приёмном её увели, а меня оставили заполнять. Я писал фамилию и не мог вспомнить, как пишется её отчество, хотя знал его девять лет.

Потом был коридор.

Тринадцать часов коридора. Я то заходил, то выходил. Держал ей руку и понимал, что от моей руки нет никакого проку, и всё равно держал, потому что убрать было нельзя. Она сжимала так, что потом у меня три дня был синяк у основания большого пальца, и я им гордился, как дурак.

Под утро она сказала:

— Я больше не могу.

И я сказал какую-то глупость. Что-то вроде «можешь, ты молодец». Ничего хуже придумать было нельзя, но говорить что-то было надо.

Он родился в четверг, в четыре двадцать утра.

Я не увидел, как он вышел, — я смотрел ей в лицо. Я услышал.

Крик был не такой, как я думал. Я думал, будет тонкий. Он был низкий, сердитый, с паузами, будто он набирал воздух впрок и заново орал уже осознанно.

А дальше случилось то, чего я боялся, что не случится.

Меня согнуло. Просто физически согнуло пополам, и я заревел — некрасиво, с хрипом, не вытирая. Акушерка глянула на меня и отвернулась, и я понял, что она видит это каждый день и что каждый день оно всё равно такое.

Жена лежала белая, мокрая, с прилипшими волосами, и смеялась. Смеялась и плакала одновременно, и повторяла:

— Слышишь? Слышишь его?

Его положили ей на живот. Красного, в смазке, с вытянутой головой — и я смотрел на эту вытянутую голову и думал: господи, какой красивый.

Три четыреста, пятьдесят один сантиметр.

Мне дали его подержать через час, когда обмыли и завернули. Я не знал, куда девать руки. Медсестра сказала: под голову ладонь, вот так, он не стеклянный. Он весил как ничего. Как пакет с хлебом. Я стоял посреди палаты и боялся сделать шаг, потому что пол вдруг показался скользким, а он был у меня в руках.

Жена смотрела на нас с подушки, уже засыпая.

— Ну что, — сказала она. — Похож?

— На кого?

— На человека хотя бы.

Мы оба засмеялись, и она тут же уснула на середине смеха.

Первые дни были устроены просто. Кормление, взвешивание, снова кормление. Он потерял в весе, как теряют все, потом начал набирать. На третий день пожелтел, как желтеют мно-

гие, и к концу недели посветлел. Медсестра говорила о нём в тех же словах, что обо всех, и это успокаивало сильнее любой похвалы.

Домой ехали двадцать километров в час. Собака обнюхала одеяло, отошла и легла у двери, и с тех пор ложилась только там.

Подарки носили всю первую неделю. Сестра жены принесла резиновую лягушку с пищалкой в боку, ярко-красную.

— Красных лягушек не бывает, — сказала она, доставая её из пакета.

— Зато её видно, — сказала жена.

Лягушка постояла на подоконнике, потом её убрали на полку, к остальному, что ему было ещё рано.

А теперь про то, чего я тогда ждал.

Я ждал взгляда. Не первого крика, не веса, не на кого похож. Мне казалось, что отцом становишься не тогда, когда его приносят, а тогда, когда он тебя находит глазами и останавливается.

На десятый день я стоял с ним у окна. Утро было белое, без солнца, и окно было самым светлым местом в комнате. Я держал его так, чтобы моё лицо приходилось ему прямо напротив, близко, на том расстоянии, которое советуют.

И он посмотрел.

Глаза дошли до моего лица и остановились. Я замер, чтобы не спугнуть. Секунду, может, две, всё было так, как я себе представлял.

Потом я чуть повёл головой вправо.

Глаза не пошли за мной. Они остались там же, где были, — и я понял, что они и были там же, где были: на светлом прямоугольнике за моей головой. Моё лицо всё это время просто стояло у него на пути.

Я отодвинулся совсем. Ничего не изменилось.

С кухни жена крикнула, чтобы я нёс его, пора кормить.

— Идём, — сказал я ему. — Мать зовёт.

В десять дней свет тянет сильнее лица. Это написано в любой книжке, и любой, кому я бы тогда рассказал, ответил бы мне то же самое. Я и сам себе это ответил, пока нёс его на кухню.

Значения я этому не придал. Значение появилось позже, и я до сих пор не уверен, что оно там было. Когда начинаешь перебирать назад, любая мелочь встаёт в ряд и делает вид, что всегда в нём стояла. Может быть, тем утром вообще ничего не произошло. Может быть, я не отодвигался, а он моргнул, а я всё достроил через полгода.

Записываю только потому, что с того утра стал смотреть.

2. Первый месяц: всё как у всех

Первый месяц мы не жили, а дежурили.

Смены получились сами собой: она до трёх, я после трёх. В четыре утра дом становится чужим. Гудит холодильник, за окном темно, и ты качаешь на руках свёрток и смотришь в стену, и в голове ни одной мысли, только счёт до ста, чтобы не уснуть стоя.

Он просыпался с криком, и у крика было два вида. Один означал голод — нарастающий, ровный, без пауз. Другой означал мокро, и он был короче и злее.

— Это голодный, — говорила она из-под одеяла, не открывая глаз.

— Мокрый.

— Голодный. Неси.

Он оказывался голодный. Она попадала девять раз из десяти, и меня это бесило неделю, а потом я сдался и стал просто носить.

К концу третьей недели сложился ритуал купания, и это был лучший час суток.

Вода тридцать семь, проверять локтем, полотенце заранее на батарею. Я держал под затылок, она поливала из ковшика. Он затихал, едва его опускали, и лежал, раскинув руки, с выражением сосредоточенного отсутствия.

— Смотри, какой довольный, — шептала она. — Смотри, смотри.

Потом его заворачивали, он согревался у меня на груди, и в этот момент делалось хорошо — устало и хорошо, так, что хотелось, чтобы кто-нибудь это видел.

Патронажная сестра приходила по вторникам. Считала складки на бёдрах, слушала, щупала родничок, писала в карте. Прибавка сто восемьдесят за неделю.

— Норма, — говорила она и закрывала карту.

Она произносила это слово буднично, между делом, и от будничности становилось спокойнее, чем от любой похвалы.

Я разговаривал с ним всё время, пока переодевал. Не потому, что он понимал, а потому что так делают. Называл, что беру: рука, вторая рука, нога, вот нога. Он смотрел в сторону лампы.

На лампу он смотрел охотно. На окно — охотно. На светлое пятно от настольной лампы на стене — особенно охотно. Однажды я поймал себя на том, что переставил лампу ближе, чтобы пятно стало крупнее, и стою, смотрю, как он на него смотрит.

Жена вошла, посмотрела на меня, на лампу.

— Ты чего?

— Ему нравится.

— Ему месяц. Ему всё нравится.

Это тоже было нормально. Контраст, говорят все книги. Свет и тень. Лица потом.

Улыбка пришла на пятой неделе.

Сначала во сне — это ещё не считается, все знают, что это не считается, и всё равно считают. Потом на груди у матери. Потом просто так, лёжа на пеленальном, когда я наклонился.

Она стояла рядом и заплакала.

— Он мне улыбнулся. Ты видел? Видел?

— Видел.

— Нет, ты видел?

Я снимал на телефон и не успел, снял уже вторую, и она была не такая, но мы всё равно пересматривали её раз двадцать за вечер, и она отправляла её всем подряд, и все отвечали сердечками.

Мы стали её вызывать. Наклонялись близко, делали голос выше, звали по имени, улыбались сами — всё, что делают все. Иногда получалось.

Иногда не получалось.

— Ну улыбнись папе. Ну.

— Не приставай к нему, — говорила она с кухни. — Он только поел.

— Я не пристаю.

— Ты пристаёшь уже десять минут.

И она была права. У месячного ребёнка причин не улыбнуться больше, чем причин улыбнуться: устал, голоден, только проснулся, живот. Мы тогда легко верили в живот.

Позже я много раз возвращался к этому месяцу и не нашёл в нём ничего.

Искал честно, стараясь не подгонять. Ел, спал, набирал, улыбался, смотрел на свет. Всё, что он делал, делают все.

Единственное, что помню как своё, а не как записанное в карте: я стал чаще, чем нужно, оказываться прямо напротив его лица. Не проверял, нет. Просто садился почему-то именно там.

3. Взгляд, который проходит мимо

На втором месяце с них начинают спрашивать.

До этого достаточно есть и расти, а тут появляется первое настоящее задание: следить за предметом. Берёшь погремушку, ведёшь медленно сантиметрах в тридцати от лица, и глаза должны пойти следом. Про это написано во всех книжках, и мы, как все, полезли проверять в тот же вечер.

Взяли лягушку — она была самой яркой вещью на полке.

Он следил.

Глаза шли за ней ровно, без рывков, доходили до края и возвращались обратно. Я провёл ещё раз, и ещё.

— Ну? — сказала жена. — Что и требовалось.

— Хорошо ведёт.

— Прекрасно ведёт. Всё, отстань от ребёнка, я его кормить буду.

Она унесла его, а я остался сидеть с лягушкой в руке.

Ночью, когда его положили, я взял его на руки сам. Наклонился близко, поймал момент, когда он смотрел, и медленно повёл голову вправо.

Глаза не пошли. Остались там, где моё лицо было секунду назад, и стояли на чём-то за ним.

Я вернулся на место. Он снова смотрел вроде бы на меня. Повёл — не пошёл.

Лягушка идёт. Лицо — нет.

Я просидел с этим весь следующий день и к вечеру нашёл объяснение, и оно было хорошее. Лягушка красная и гладкая, она отражает свет одним пятном, у неё резкий край. Лицо сложное, всё в полутонах, оно не блестит, оно больше поля зрения. Что легче поймать двухмесячному — очевидно. Он следит за тем, что проще. Это не про лицо, это про контраст.

Я даже проверил строго, как мне тогда казалось: нарисовал на белом листе чёрный круг маркером и провёл.

Круг он вёл.

Я пришёл на кухню с этим листом, довольный, как будто что-то доказал.

— Смотри. Круг ведёт. Значит, дело в контрасте.

Она вытерла руки, посмотрела на лист, на меня.

— Слушай. Ты сейчас рисуешь ребёнку круги в одиннадцать вечера.

— Я проверяю.

— Ты не спишь четвёртую неделю, вот что ты делаешь. — Она забрала лист. — Он видит. Врач сказала — видит. Иди спать.

Я пошёл спать. И спал хорошо, потому что объяснение было найдено, а найденное объяснение усыпляет лучше любой таблетки.

О том, что лицо матери младенцы держат раньше всякого контраста и хуже видя, я вычитал сильно позже — когда уже читал не то, что дают всем.

В августе мы вынесли его в сад.

Положили в коляске под яблоней. Был тот густой послеобеденный свет, когда всё кажется медленным. Листья ходили, тень ходила по одеялу, и он смотрел вверх, не мигая, очень долго.

Жена сидела на траве рядом, счастливая.

— Ему нравится дерево. Смотри, как уставился.

Я сел с другой стороны коляски и стал смотреть, куда он смотрит.

Он смотрел не на листья.

Он смотрел в просветы между ними — туда, где было небо. Когда ветер сдвигал ветку и просвет закрывался, глаза не переходили на соседний и не искали. Они оставались там же. Открывалось снова — он был уже на месте.

— Он не на листья смотрит, — сказал я.

— А на что?

— В дырки между ними.

Она засмеялась.

— Господи. Ну какая тебе разница, куда он смотрит. Он лежит на воздухе под деревом, ему два месяца, и он доволен. Всё.

Она была права настолько, что спорить было стыдно.

Свет. Его тянет на светлое, это написано везде.

Собака лежала тут же, метрах в двух, как всегда — не ближе. Ухо у неё было повёрнуто к дороге, хотя на дороге было пусто.

Вечером мы снова вызывали улыбку, и в тот вечер получилось с первого раза, и мы оба хохотали над ним как ненормальные.

4. Объяснения, которые ещё держатся

К концу первого года у меня набралось семь объяснений, и все были хорошие.

Я их не придумывал, они приходили сами, по одному, под каждый случай, и каждое было настолько разумным, что отказаться значило бы поглупеть. Плохое объяснение выдаёт себя сразу. Беда с хорошими.

Свет сильнее лица — первое. С ним я прожил дольше всего.

Контраст важнее сложного — второе, к нему прилагался чёрный круг на белом листе.

Мальчики позже — третье. Его подарила мне тёща за столом на Новый год, между салатом и горячим.

— Мой до двух лет молчал как партизан, — сказала она, накладывая жене. — А потом сразу предложениями. Мальчики всегда позже.

— Да это все говорят, — сказала жена.

— Все говорят, потому что все видели.

Никто за столом не возразил, и я запомнил это как медицинский факт.

Спокойный ребёнок — четвёртое, и его говорили все, кто приходил, и говорили с завистью. Он правда был спокойный. Мог лежать один сорок минут и не звать.

Наследственность — пятое. Мой брат до трёх лет молчал, а потом заговорил предложениями. В нашей семье эту историю рассказывают как утешительную, и она правда утешала.

Мы слишком много смотрим — шестое, и оно было самым честным. Я действительно смотрел слишком много.

Седьмое появилось в декабре, и оно было мне дороже всех: он сосредоточенный. Не отстранённый, а занятый. У него там работа, мы просто не видим какая.

Про седьмое надо сказать отдельно, потому что оно единственное оказалось верным, и толку от этого не было никакого. Я угадал факт и не угадал ничего дальше. Он действительно был занят. Занят тем, чего я не то что не видел — не мог предположить, что этим можно быть занятым.

Объяснения работали поодиночке, и в этом весь фокус. Каждое закрывало свой случай целиком, без остатка. Пока случаи не попадают в одно место, они и не складываются: их нечем складывать, у них разные причины, и каждая доказана.

К шести месяцам он сидел. Ровно в срок, сначала с опорой, потом без.

К семи брал предмет и перекладывал из руки в руку. Тянулся ко мне. На руки шёл охотно, прижимался, обхватывал шею, и этим закрывались все вопросы разом. Он ласковый. К ребёнку, который не тянется, у меня были бы вопросы, а к этому какие.

Лепет начался в восемь и был обильный. Ба-ба-ба, да-да-да, длинными очередями, с подъёмом к концу, будто он спрашивал.

— Он тебе отвечает, — говорила жена. — Ты слышишь? Он поддерживает разговор.

Она вела с ним долгие беседы из двух слогов. Он отвечал ей, и она хохотала, и он хохотал в ответ, и это была самая счастливая комната на свете.

На имя он оборачивался. Не всегда — когда был занят, не оборачивался. Но кто оборачивается всегда.

Слух проверили в поликлинике. Слух был в порядке.

На осмотре в девять месяцев врач спросила про предметы, про слоги, про сидит-ползёт, поставила галочки.

— Развитие соответствует возрасту, — сказала она и полезла за печатью.

— Можно вопрос? Он не следит за лицом. Когда я двигаюсь — глаза остаются.

Она отложила ручку и подняла на меня глаза — первый раз за весь приём.

— За каким лицом?

— За моим.

— Давайте сюда.

Она взяла его, отнесла к окну, подержала, повернулась с ним раз, другой. Он крутил головой.

— Прекрасно всё видит, — сказала она, возвращая. — Папа, вы поспите.

В коридоре жена взяла меня под руку.

— Слышал? Второй человек тебе это говорит.

И он прекрасно видел. Это была правда, и от этой правды я отталкивался ещё полгода.

Осенью мы переставили комод. Он ползал, комод мешал, мы отодвинули его к другой стене — метра на полтора, на весь день работы.

Вечером он приполз на своё место у окна, остановился и заплакал.

Плакал долго, не как от боли и не как от голода. Жена взяла на руки — не успокоился. Носили, качали, кормили. Успокоился через час, вдруг, без причины.

— Зубы, — сказала она, укладывая. — У него верхние лезут.

На зубы в этом возрасте списывают всё, и мы списали.

Комод остался на новом месте. Через два дня он ползал по комнате как обычно, и мы об этом вечере не вспоминали.

Первая трещина прошла в ноябре, и я её не заметил.

Он играл на ковре, я сидел рядом с телефоном. Он тянулся за кубиком, брал, стучал, отпускал. Мне надо было встать, он был на проходе, и я сдвинул его самого — аккуратно, под мышки, сантиметров на тридцать вбок, вместе с кубиком в руке.

Он замер.

Посмотрел на свою руку. На кубик в руке. Положил кубик. И заплакал.

— Ну что ты его дёргаешь, — сказала жена из коридора.

— Я его на тридцать сантиметров переставил.

— Он играл. Никто не любит, когда его двигают.

Этого объяснения хватило на четыре месяца.

Ровно до того дня, когда я попросил его дать мне красную лягушку.

5. Красная лягушка

В год и два мы начали играть в «дай», и это была лучшая игра на свете.

Она простая и в ней нет ничего, кроме радости. Раскладываешь на ковре три-четыре предмета, называешь один, он подаёт. Мяч. Кубик. Ложка. Он подавал, я говорил «спасибо, умница», он смеялся тем низким смехом, который у него появился к году, и я смеялся, и мы могли так по двадцать минут.

Подавал он не всегда правильно, и это никого не смущало. В год и два никто не подаёт всегда правильно.

В тот день на ковре лежали мяч, деревянный кубик, ложка и красная лягушка.

Лягушку он к тому времени любил. Таскал за заднюю лапу, грыз, пищал ею в машине, засыпал с ней. Она была самой заметной вещью в комнате.

— Дай лягушку.

Он посмотрел на ковёр. Взял кубик и протянул мне.

— Молодец. А лягушку?

Он взял мяч.

Я засмеялся, поднял лягушку сам и попищал ею у него перед носом.

— Вот. Ля-гуш-ка. Дай лягушку.

Он взял её и отдал сразу, не раздумывая.

Я разложил всё обратно и попросил снова.

Кубик.

Мы играли минут двадцать. Получалось примерно так: когда лягушка лежала справа от него, он подавал её через раз. Когда слева — почти никогда. Когда я перед этим брал её в руки — безошибочно.

К концу двадцати минут я уже понимал, что смотрю не на то, как он ошибается. Я смотрю на то, что у ошибок есть форма.

Из кухни пришла жена, встала в дверях с полотенцем.

— Ты его мучаешь.

— Он не берёт лягушку.

— Он берёт её с утра до вечера. Он с ней из ванной не выходит.

— Когда я прошу — не берёт.

— Так, может, не хочет отдавать. Она любимая. — Она бросила полотенце на спинку и села на ковёр. — Малыш. Дай маме лягушку.

Он подал ложку.

Она посмотрела на ложку в своей руке. Потом на меня.

— Ну вот, и мне не даёт. Значит, просто жадничает.

— Он ложку тебе дал. Ложку ему не жалко?

Она помолчала.

— Он путает слова, — сказала она наконец. — Ему год и два, он половину слов путает. Ты сам вчера радовался, что он «мяч» выучил.

Тут она была права, и права надолго. Он действительно путал слова.

Но я уже не мог остановиться и сделал то, что делают, когда объяснение не держится, а признаться в этом ещё нельзя. Я стал проверять.

Дождался, пока они уйдут на кухню, и переложил лягушку. Просто переставил на ковре справа налево, сантиметров на сорок. Ничем не накрыл, не спрятал, оставил на самом виду.

Он вернулся и не посмотрел на неё ни разу.

Ползал мимо, брал кубик, катал мяч, гудел себе под нос. Единственная красная вещь в комнате лежала в полутора метрах, и он обходил её, как обходят пустое место.

Я поднял лягушку и вложил ему в руки.

Он обрадовался так, будто ему её только что подарили. Схватил, запищал, прижал к себе, засмеялся мне в лицо.

Я забрал её и положил обратно — теперь справа, где она лежала всегда.

Через минуту он к ней подполз.

Я проделал это четыре раза за вечер. Слева — нет её. Справа — есть.

И тогда я сделал последнюю проверку, которая была уже не про лягушку.

Я не стал её трогать. Я передвинул его самого — взял под мышки и перенёс на другую сторону ковра, так что лягушка оказалась справа от него. Там, где он её видел.

Он заплакал.

Плакал долго, зло, отталкивая мои руки. Не как от боли и не как от испуга. Так плачут, когда только что было одно, а стало другое, и никто не объяснил почему.

Жена прибежала, забрала его у меня.

— Что ты сделал?

— Ничего. Переставил его.

— Куда переставил?

— На полметра.

Она смотрела на меня поверх его головы, покачивая, и я видел, что она первый раз за полтора года не знает, что сказать.

— Пойдём спать, — сказала она. — Оба пойдём спать.

Ночью я лежал и перебирал.

Дело не в цвете: он видел красное, справа он к ней подходил. Не в слове: слово он знал, он подавал её, когда я брал её в руку. Не в упрямстве: он плакал, а не упирался.

Выходило, что лягушка справа и лягушка слева — для него не одна вещь на разных местах.

И что его собственное перемещение делает с миром что-то такое, чего не делает перемещение вещи.

Я встал, нашёл на кухне какую-то квитанцию и записал это на обороте, четырьмя строчками. Утром перечитал и не нашёл там ничего, кроме растерянности.

Убрал в ящик стола.

Она пролежала там два года, а ещё через два оказалась единственным документом, по которому я мог восстановить, когда это началось.

Она и сейчас там.

6. Я стал проверять

Между лягушкой и тем вечером, когда жена нашла тетрадь, прошло четыре месяца.

Я их помню плохо, и это странно, потому что делал я в те месяцы больше, чем за весь предыдущий год. Плохо помню, наверное, потому, что делал это молча.

Началось с мелочи. Через неделю после лягушки я купил вторую такую же.

Магазин был тот же, лягушки лежали в корзине у кассы, одинаковые, и я взял одну и весь вечер ходил вокруг мысли, которую не хотел додумывать. Додумал ночью. Если для него лягушка справа и лягушка слева — разные, то что будет, если положить обе сразу.

Утром я разложил их на ковре: одну справа, одну слева. Симметрично, на равном расстоянии.

Он подполз к правой.

Взял, попищал, бросил, уполз к кубикам. Левая пролежала на ковре весь день. Вечером я её убрал и ничего не записал, потому что записывать было нечего: ребёнок взял игрушку, которая была ближе к правой руке. Любой взял бы.

Через три дня я поменял их местами. Ту, что лежала слева, положил справа.

Он подполз к ней.

Это уже нельзя было объяснить тем, что он предпочитает одну лягушку другой, и я почувствовал то, чего не ожидал: не тревогу, а азарт. Отвратительный, чистый исследовательский азарт. Я стоял в детской и понимал, что мне интересно.

Тетрадь я завёл в декабре. Обычную, в клетку, шестьдесят листов.

Первая запись: «14.12. Лягушка. Право — берёт. Лево — нет. 4 из 4».

Дальше пошло быстро. Я стал проверять всё, до чего мог дотянуться, и делал это, когда жена уходила на работу, а мы оставались вдвоём. Не потому, что скрывал. Просто при ней это выглядело бы как то, чем оно было.

Проверял стороны. Проверял расстояние: с какого он перестаёт замечать. Проверял, что будет, если предмет накрыть и снять; что будет, если он сам отвернётся и повернётся обратно; что будет, если я его отнесу в другой конец комнаты и принесу назад на то же место.

Последнее оказалось важным, и я записал это дважды, обведя рамкой.

Если я его уносил и ставил на то же самое место — всё было в порядке. Если уносил и ставил на полметра левее — он терялся. Терялся не в комнате: он терялся в том, что в комнате находится. Он шёл к месту, где была лягушка, доходил и останавливался, и на его лице появлялось выражение, которое я потом видел сотни раз, и до сих пор не знаю, как его назвать. Не

испуг. Не огорчение. Что-то вроде вежливого недоумения перед человеком, который представился и тут же назвал другое имя.

К январю в тетради было девятнадцать страниц.

Я вёл её аккуратно, с датами, и сам замечал, что почерк на этих страницах не мой обычный, а мелкий и ровный, каким пишут в лаборатории.

В конце января он заболел. Ничего серьёзного, температура четыре дня. Он лежал у меня на руках горячий, тяжёлый, вцепившись в ворот, и я сидел с ним до трёх ночи и не думал ни о каких проверках. Думал только, чтобы он уснул. И когда он уснул, я долго не решался положить его — сидел и слушал, как он дышит.

На пятый день температура спала, и я взял тетрадь.

Я пишу это не для того, чтобы себя оправдать. Я пишу это, потому что хочу, чтобы было понятно, как одно живёт с другим в одном человеке и не мешает: ночью я держал сына, а утром проверял на нём гипотезу, и обе эти вещи были настоящими, и ни одна не была прикрытием другой.

Нашла она тетрадь в феврале.

Искала квитанцию, открыла ящик, а тетрадь лежала сверху. Я вошёл, когда она читала уже несколько минут — стояла посреди комнаты, не садясь.

— Что это?

— Наблюдения.

— Наблюдения, — повторила она. Перевернула страницу. —«Опыт одиннадцать. Переставил ребёнка. Плакал двадцать минут». Это что?

— Это то, что было.

— Ты доводил его до плача и записывал, сколько он плакал?

— Я не доводил.

— Здесь написано двадцать минут. — Она подняла глаза. — Ты рядом сидел с секундомером?

Я сказал, что нет, что смотрел на часы на стене, и услышал, как это звучит.

Она села на диван и стала читать дальше, молча, страницу за страницей. Я стоял. Мне было стыдно так, как не было ни разу с тех пор.

— Тут два месяца, — сказала она наконец.

— Три.

— Три месяца ты каждый день что-то на нём проверял и мне не сказал ни слова.

— Я хотел сначала понять.

— Ты хотел сначала понять. — Она закрыла тетрадь и положила рядом. — А я эти три месяца думала, что у нас всё хорошо.

Тут я мог бы возразить, но возразить было нечем. У нас в эти три месяца и правда всё было хорошо — если считать по тому, как мы жили: гуляли, ели, купали, смеялись над ним, ездили к её матери на Новый год. Ровно эти три месяца я вёл тетрадь.

— Скажи мне честно, — сказала она. — Ты думаешь, с ним что-то не так?

Здесь я сделал вторую ошибку, которая оказалась дороже первой.

— Нет, — сказал я. — Я думаю, с ним всё так. Просто по-другому.

Я сказал это, чтобы её успокоить, и в тот вечер это сработало: она выдохнула, и мы допоздна сидели на кухне, и она даже сама спросила про правую и левую сторону, и мы вместе пробовали — и у неё получилось то же самое, и она сказала: слушай, действительно.

Но фраза осталась. «С ним всё так, просто по-другому» — я повторял её потом три года, всем и себе, и каждый раз она была наполовину правдой. Именно та половина, которая была правдой, и мешала мне вовремя услышать вторую.

Тетрадь мы после этого вели вдвоём.

Она писала другим почерком — крупным, с наклоном, и её записи отличались от моих. Мои были про предметы. Её — про него.

Первая её запись, 9 февраля: «Когда теряется, ищет не глазами. Стоит и слушает».

Я прочёл это вечером и три раза перечитал.

За три месяца, девятнадцать страниц и сорок с чем-то опытов я ни разу не посмотрел ему в лицо в тот момент, когда он терялся. Я смотрел, куда он пойдёт.

7. Комнату переставили, и он потерялся

Ремонт затеяли в мае, и это была моя идея.

Ему шёл третий год, он уже ходил, детская была тесная и тёмная, окно выходило на север. Мы решили поменять комнаты местами: его — в бывшую нашу, светлую, с окном в сад, нашу — в маленькую. Работы на два дня.

— А он? — спросила жена.

— Что он?

— Ну он же привык.

— Ему будет лучше. Там света вдвое больше.

Она посмотрела на меня так, будто хотела сказать что-то ещё, но сказала только: ладно.

Мы перенесли всё за субботу. Кровать, комод, коробку с игрушками, коврик. Расставили похоже: кровать у стены, комод напротив, коробка в углу. Даже наклейки с рыбами отклеили и переклеили на новую стену, примерно на ту же высоту.

Вечером привели его в новую комнату.

Он вошёл на два шага и остановился.

Постоял. Потом пошёл вдоль стены, ведя по ней рукой, дошёл до угла, повернул, прошёл вторую стену, третью. Обошёл комнату по периметру, вернулся к двери и вышел.

Мы нашли его в старой детской. Комната была пустая, только вмятины от кровати на линолеуме. Он стоял посередине, на том месте, где раньше стояла коробка с игрушками, и ждал.

— Малыш, — сказала жена. — Мы переехали. Пойдём, я покажу.

Он не пошёл.

Она взяла его за руку, он пошёл за ней, но у порога новой комнаты остановился и сел на пол.

Первую ночь он не спал.

Не плакал — это было хуже, чем если бы плакал. Он лежал с открытыми глазами, и стоило выйти, вставал и шёл к двери. Я сидел с ним до четырёх, гладил по спине, говорил что-то. Он лежал спокойно, дышал ровно и не спал.

Под утро жена сменила меня и уснула вместе с ним поперёк кровати.

Вторые сутки были тяжелее.

Он перестал есть. Не отказывался демонстративно — просто сидел и не начинал. Ложку брал и держал. Пить пил.

К вечеру он два раза описался, чего не делал уже полгода. Я стал искать в этом смысл — регресс, стресс, реакция на новизну, всё это есть в любой книжке — и нашёл, и объяснение было хорошее, и оно даже было верное. Оно просто ничего не объясняло по существу.

На третий день жена сказала:

— Вернём.

— Это регресс на новизну. Через неделю пройдёт.

— Он не спит третью ночь.

— Все дети не спят на новом месте.

Она стояла у плиты и не поворачивалась.

— Ты хоть раз видел, чтобы ребёнок на новом месте не плакал, а ходил вдоль стены и щупал её рукой?

Я не видел.

Мы перенесли всё обратно в тот же вечер. Кровать к северной стене, комод напротив, коробка в угол, наклейки с рыбами отодрали и переклеили назад.

Он вошёл в старую комнату, прошёл до середины, сел на пол у коробки и достал из неё лягушку.

И заснул через сорок минут прямо там, сидя, привалившись к коробке, и жена его переложила, а он не проснулся.

Ночью мы разговаривали на кухне, и разговор этот я помню дословно.

— Я не понимаю, — сказала она. — Мы перенесли всё. Всё то же самое. Кровать та же, игрушки те же, мы те же.

— Свет другой.

— При чём тут свет.

— Окно на другую сторону. Тени идут в обратную сторону.

Она подумала.

— Ты хочешь сказать, ему свет важнее, чем кровать?

— Я не знаю, что ему важнее.

— А что ты знаешь?

И я сказал единственное, до чего дошёл к тому моменту, и сказал неуклюже.

— Я знаю, что когда мы двигаем одну вещь — он справляется. Он поворчит и привыкнет. А когда мы двигаем всё сразу — он не находит ни одной.

— Так это же логично. Он маленький.

— Нет. Логично было бы наоборот. Если ты потерял одну вещь, ты ищешь её среди остальных. Он теряет одну — и находит. Мы переносим всё — и он не находит ничего, хотя вещи все на месте.

Она долго молчала.

— То есть ему важна не вещь, — сказала она.

— Ему важно, где она относительно остального.

— Это всем важно.

— Нам важно не так. Мы можем взять чашку и унести на кухню, и она останется чашкой.

Она взяла со стола чашку, подержала и поставила обратно на то же место.

— А у него не останется?

— Не знаю. Похоже, что нет.

Мы просидели до двух ночи и ни к чему не пришли, и разошлись спать, и это был первый наш разговор о нём, в котором мы оба не притворялись, что всё понятно.

В тетради на той неделе появилась её запись, и с неё началось всё остальное.

«17.05. Комната. Перенесли ВСЁ — потерялся. Перенесли ОДНО — не теряется. Проверить: сколько можно сдвинуть, чтобы не потерялся?»

Мы стали проверять уже вдвоём, и ответ нашли через месяц, и он оказался таким, что я не поверил и переделал всё заново.

8. Диван сдвинули на ладонь, и он потерялся

тоже

Проверяли мы месяц, и вот на что ушёл этот месяц.

Сначала двигали одно. Комод от стены на полметра — он утром вошёл, посмотрел, обошёл его и играл дальше. Кресло из угла к окну — то же самое. Коробку с игрушками через всю комнату — подошёл, вынул лягушку, унёс на старое место, там и сел.

— Смотри, он её вернул, — сказала жена.

— Он не её вернул. Он себя вернул.

Она посмотрела на меня и ничего не ответила, но в тетради в тот день написала: «Возвращает не вещь, а место».

Потом стали двигать по две. Комод и кресло сразу — справился, но дольше, минут десять ходил, прежде чем сел играть. Три вещи — уже не справлялся. Стоял у двери и не входил.

Логика напрашивалась простая и успокаивающая: чем больше сдвинуто, тем хуже. Порог где-то между двумя и тремя. С этим уже можно жить: не переставляй сразу три вещи, и всё.

Мы прожили с этой мыслью недели две. А потом был вечер с диваном.

Диван стоял в гостиной, и я его не двигал — я пылесосил. Отодвинул, чтобы пройти, и задвинул обратно, и задвинул неточно. Сантиметров на десять от стены. На ладонь.

Утром он вошёл в гостиную, сделал два шага и остановился.

Постоял. Пошёл вдоль стены, ведя рукой. Дошёл до угла, повернул, прошёл вторую стену. Вернулся к двери и вышел.

Я стоял с чашкой и смотрел, как это происходит, и чашка была горячая, и я про неё забыл.

Это был тот же обход, что в новой комнате. Слово в слово, движение в движение.

— Что случилось? — крикнул я жене.

— Ничего не случилось. Я ничего не двигала.

— Иди сюда.

Она пришла, посмотрела на комнату. Комната была та же самая.

— Всё на месте, — сказала она.

— Диван на десять сантиметров.

— Чего?

— Я вчера пылесосил и не довёл его до стены.

Мы задвинули диван обратно. Он вошёл через час и играл нормально.

Вечером я отодвинул его снова, на те же десять сантиметров, — и утро повторилось. Потом мы проверили это шесть раз за две недели, и оно повторилось шесть раз.

Десять сантиметров — теряется. Комод на полметра — не теряется.

Я помню, как сидел с тетрадью и не мог это записать. Написать это значило признать, что месяц работы надо выбросить, потому что в нём было ровно одно предположение — что дело в величине сдвига, — и оно только что рассыпалось.

Я переделал всё заново. Взял чистые страницы и стал заносить не «что сдвинули», а «что сдвинули относительно чего».

И картина собралась за один вечер.

Комод стоял отдельно. Между ним и стеной был проход, между ним и кроватью полтора метра. Сдвинь его на полметра — он останется тем же комодом в том же проходе, только чуть иначе.

Диван стоял вплотную к стене. Вплотную — это не расстояние, это отношение. Диван-у-стены и диван-в-десяти-сантиметрах — не одна вещь, сдвинутая на ладонь. Это два разных отношения, и второго в его комнате никогда не было.

Я объяснил это жене на кухне, разложив спички.

— Вот, — сказал я. — Для нас вещь — это вещь. Она может стоять где угодно и остаётся собой. Она у нас как бы твёрдая. А место — это просто где она сейчас.

— Ну да.

— А у него, похоже, наоборот. Твёрдое — это отношение. Вплотную. Между. Под. Справа от. А вещь — это то, что попало в отношение.

— Я не понимаю.

Я подвинул спичку вплотную к коробку.

— Вот спичка у коробка. Если я отодвину её на сантиметр — для тебя это та же спичка, просто чуть дальше. А для него это не та же спичка. Для него исчезло «спичка-вплотную-к-коробку» и появилось «спичка-рядом-с-коробком». Другое отношение — другая вещь.

Она долго смотрела на спички.

— Тогда он живёт в очень страшном мире, — сказала она.

— Почему страшном?

— Потому что у него всё исчезает. Мы только ходим по комнате, а у него вещи пропадают и появляются.

Она была права. Но она сказала не всё, а я в тот момент не додумал, и додумал только через годы, и это оказалось важнее.

Если вещи у него держатся отношениями, то одного я в этой картине не учёл вовсе.

Себя.

Он не смотрит на комнату со стороны. Он в ней стоит. И если я беру его под мышки и переставляю на полметра — я не перемещаю наблюдателя по неподвижной комнате. Я меняю все отношения сразу. Все до единого. Для него в этот момент не он переехал — переехало всё.

Вот почему он плакал тогда на ковре, когда лягушка была на месте и я только перенёс его самого.

Я не перенёс его к лягушке.

Я уничтожил комнату и собрал новую, в которой лягушки не было.

9. Что говорят врачи и чего они не говорят

К врачам мы пошли, когда ему было три года и четыре месяца.

Пошли из-за речи, а не из-за диванов. Диваны мы к тому времени научились обходить: не двигай, не переставляй, задвигай до стены — и живи. Речь обойти было нельзя. Он говорил около тридцати слов, и половина из них была не то, что называют словами.

Начали с невролога в поликлинике. Она посмотрела карту, постучала молоточком, посветила в глаза.

— Задержка речевого развития. Мальчики часто. Ждём до четырёх, если не разговорится — идём к специалистам.

— А это точно просто задержка?

— Молодой человек, ему три года. — Она писала, не поднимая головы. — Вы хотите, чтобы я вам сейчас поставила что-нибудь пострашнее?

Я не хотел.

Дома я сел за компьютер и начал читать, и читал полгода, и это отдельная болезнь, про которую мало пишут. Ты находишь описание, и оно подходит. Потом находишь второе, и оно подходит тоже. Потом находишь третье, взаимоисключающее с первыми двумя, и оно подходит лучше всех.

К зиме мы пошли платно.

Приняли хорошо, говорили долго, час. Врач был немолодой, слушал внимательно, задавал правильные вопросы и записывал ответы.

— Есть элементы аутистического спектра, — сказал он в конце. — Не выраженные. Скорее особенности сенсорной обработки. Я бы не торопился с диагнозом.

— А что это значит — особенности обработки?

— Это значит, что информация от органов чувств обрабатывается у него иначе. Отсюда трудности с переходами, сопротивление изменениям, ритуальность.

Я достал тетрадь.

Я её принёс с собой — сто двадцать страниц к тому времени, с датами, — и стал рассказывать про правую и левую сторону, про диван на десять сантиметров, про то, что комод на полметра проходит незаметно.

Он слушал внимательно, не перебивая. Потом сказал то, что было абсолютно точным и абсолютно бесполезным.

— Да, это укладывается. Ригидность к изменениям среды. Очень типично.

— Но почему десять сантиметров хуже, чем полметра?

— Ну, у детей с сенсорными особенностями пороги реакции могут быть непредсказуемыми.

— Это не непредсказуемо. Это повторяется шесть раз из шести.

Он посмотрел на тетрадь, потом на меня, и в его взгляде было сочувствие — но сочувствие относилось ко мне, а не к вопросу.

— Знаете, — сказал он мягко, — я бы вам не советовал так глубоко в это уходить. Родители часто ищут систему там, где её нет. Это защитный механизм, и он понятный, но он отнимает силы, которые нужны на занятия.

В машине жена молчала, а потом сказала:

— Он тебя пожалел.

— Я заметил.

— Нет, ты не понял. Он тебя пожалел как больного.

Дальше был год специалистов, и я хочу сказать о них честно, потому что многие в такой книге пишут о врачах зло, а зла они не сделали.

Дефектолог была прекрасная. За восемь месяцев он стал говорить фразами из двух слов. Она занималась с ним на полу, не за столом, она первая заметила, что он лучше отвечает, если сидеть не напротив, а рядом, плечом к плечу. Я спросил почему. Она сказала: не знаю, но с ним так работает.

Это был самый честный ответ за весь год.

Логопед научил его «дай» и «нет» — настоящему «нет», словом, а не плачем, и это изменило нашу жизнь сильнее любого диагноза.

Психолог показала жене, как не сходить с ума. Это тоже было нужно, и это никто больше не сделал бы.

Чего они не сделали, ни один из них, — не спросили, что у него получается.

Спрашивали всегда об одном: чего он не умеет. Не смотрит в глаза. Не показывает пальцем. Не играет в ролевые игры. Не откликается с первого раза. Карта заполнялась минусами, и это была правильная карта — по ней подбирали занятия, и занятия помогали.

Но в этой карте не было места для того, что я видел дома каждый день.

Он находил вещь в темноте, не включая свет, — доходил до неё и брал, и не ощупью, а сразу.

Он знал, что мать вернулась, за минуту до того, как она подходила к калитке, и я проверял по часам, и это была минута.

Он отличал, налито в чашку двести грамм или двести пятьдесят, не поднимая её.

Однажды он подошёл к яблоне и стоял, прижавшись лбом к коре, а через два дня с той стороны отвалилась большая сухая ветка, ровно с той стороны.

Я один раз рассказал про это — не помню уже кому из них, — и услышал:

— Совпадение. Не ищите у него сверхспособностей, это частая ошибка родителей.

И это тоже было верно сказано. Сверхспособностей у него не было. Он не читал мыслей, не угадывал карты, не знал, что будет завтра. Он вообще не знал массу простых вещей: не понимал, что в коробке остались игрушки, если коробку закрыть; путался в том, кто из нас кто, если мы менялись местами за столом.

Но у него было своё — и оно не помещалось ни в одну графу, потому что графы были устроены как перечень того, чего у него нет по сравнению с нами.

В феврале, когда ему было четыре с половиной, врач поставил формулировку, и мы получили бумагу.

Жена плакала в машине, а я держал бумагу и чувствовал странное — облегчение. Позорное, стыдное облегчение оттого, что теперь у этого есть название и мне больше не нужно ничего понимать.

Оно продержалось дней десять.

Потом я перечитал тетрадь целиком, от первой страницы, все сто восемьдесят, и понял простую вещь.

Название объясняло, почему он не такой, как мы.

Оно не объясняло, какой он.

10. Слово, которое всё объясняет и ничего не даёт

Десять дней облегчения стоит описать подробно, потому что в них есть то, в чём стыдно признаваться.

Первые сутки я просто спал. Впервые за год лёг и уснул сразу.

На вторые я позвонил матери и сказал. Она долго молчала в трубку, потом спросила: а это лечится? Я сказал: это не лечится, это устройство. Она сказала: господи. И потом мы говорили полчаса о чём-то другом, и это было хорошо.

На третий день мы сказали её матери, и тёща отреагировала неожиданно. Она не стала спорить и не стала утешать. Она сказала: значит, будем подстраиваться. И с того дня, приезжая, первым делом спрашивала, куда можно ставить сумку, а куда нельзя.

На четвёртый я написал в родительский чат, где сидел молча полгода, и мне ответили двадцать человек, и половина написала что-то дельное.

А на шестой день я поймал себя на том, что перестал смотреть.

Он сидел на полу и выкладывал карандаши. Раньше я бы сел рядом и минут двадцать смотрел, как именно он их выкладывает: в каком порядке берёт, куда кладёт первый, что делает, если сдвинуть один. Теперь я прошёл мимо и подумал: стереотипное поведение.

И пошёл дальше по своим делам.

Вот что делает слово. Оно не врёт. Оно закрывает.

Раскладывание карандашей действительно подходит под графу, и графа названа правильно, и специалист, читая её, поймёт, о чём речь. Но пока графы не было, я стоял над этими карандашами и видел, что он их не просто раскладывает: он выкладывает их от края стола, всегда от края, и если сдвинуть стол — начинает заново, а если сдвинуть карандаш — не начинает.

После слова «стереотипия» я этого больше не видел. Я видел стереотипию.

Я поймал себя ещё дважды за ту неделю. Он застыл в дверях — я подумал: ригидность. Он не ответил на своё имя — я подумал: дефицит совместного внимания.

Каждый раз мысль приходила сама, готовая, и каждый раз после неё смотреть было уже незачем.

На десятый день я достал тетрадь и прочёл её целиком. Ушёл вечер.

Сто восемьдесят страниц: правая сторона, левая сторона, диван на ладонь, комод на полметра, вода в темноте, минута до калитки, лоб на коре, карандаши от края стола. Три года наблюдений, из которых процентов семьдесят были мои, а лучшие — её.

И вот что я увидел, дочитав.

Диагноз описывал всё это целиком и правильно. Ни одна строчка ему не противоречила. Он объяснял, почему ребёнок ведёт себя не так, как другие дети, — и объяснял точно, и на его основе с ним занимались, и занятия работали, и я не отказался от него ни тогда, ни потом.

Но на вопрос, из-за которого я вёл тетрадь три года, в нём не было ответа. И не потому, что диагноз плохой, а потому, что он о другом.

Вопрос был не «почему он не такой, как мы». Вопрос был «а какой он».

Почему диван на ладонь — катастрофа, а комод на полметра — ничто. Почему лягушка справа есть, а слева её нет. Почему он находит воду в темноте и не находит игрушку в закрытой коробке. Почему, если перенести его самого, рушится больше, чем если перенести вещь.

Слово говорило: у него нарушено восприятие изменений среды.

Тетрадь говорила: у него не нарушено. У него другое.

Это разные утверждения, и разница между ними больше, чем кажется. Нарушенное восприятие — испорченный наш. Другое восприятие — работающее чужое.

Первое лечат. Второе понимают.

Я пошёл на кухню и сказал ей это вслух, как умел, и вышло коряво.

— Слушай. Мы всё время спрашиваем, чего он не может.

— И что?

— А я хочу знать, что он может. Не в смысле талантов. В смысле — как у него всё устроено. Как он различает.

Она сидела над чашкой и молчала.

— Зачем? — сказала она наконец.

Я не ожидал этого вопроса и сначала обиделся.

— В смысле — зачем?

— В прямом. Допустим, ты поймёшь. Ему от этого станет легче?

— Ему станет легче, если я перестану двигать диваны.

— Диваны ты уже не двигаешь. Ты и так знаешь, что не надо.

И это было верно. Всё практическое я к тому моменту знал: не переставлять, предупреждать, не разворачивать без спроса, не менять маршрут. Понимание, которого я хотел, не добавляло к этому списку ни строчки.

— Тогда для себя, — сказал я.

Она посмотрела на меня внимательно, без злости.

— Вот. Для себя. Скажи мне правду: тебе мало, что ты знаешь, как с ним. Тебе надо знать, как у него.

— Да.

— Зачем тебе это?

И я сказал то, чего до этого вечера не говорил ни ей, ни себе.

— Потому что я его не вижу.

Она подняла глаза.

— Я его кормлю, вожу, укладываю, знаю, чего он боится, знаю, что он любит. Я всё про него знаю снаружи. А внутри у него идёт какой-то день, целый день, каждый день, одиннадцать часов, и я про этот день не знаю ничего. И он мне про него никогда не расскажет. Не потому что не захочет. У него нет слов, а у меня нет того, для чего эти слова были бы.

Она долго молчала.

— И что ты будешь делать?

Тогда я не ответил, потому что не знал.

Ответ пришёл через полтора года, и был он такой, что рассказать его ей я решился не сразу: если я не могу подняться до его мира, значит, надо спуститься ниже обоих. Снять с себя всё, что делает мой мир моим, и дойти до места, где ни моих различений, ни его уже нет. И встретиться там.

Сейчас, когда я это пишу, я знаю, чем это кончилось.

Но тогда мне казалось, что я наконец придумал, как к нему попасть.

ЧАСТЬ II. ПРАВИЛО

11. У него есть последовательность

Правило мы нашли не потому, что искали, а потому, что перестали искать.

После диагноза был год, когда мы просто жили. Занятия, сад для особых детей три раза в неделю, дефектолог по вторникам и четвергам. Тетрадь лежала в ящике, я её не открывал. Мне казалось, что я честно попробовал понять и честно не смог, и что теперь надо просто быть хорошим отцом, а это другая работа и на неё уходит всё.

Открыл я её из-за автобусов.

Ему было пять с половиной. Мы ездили на занятия одним и тем же маршрутом — от нашей остановки до площади, двенадцать минут. В тот день был ремонт дороги, автобус пустили в объезд, и я подумал: ну, будет плохо.

Плохо не было.

Он сидел у окна и смотрел, и на новой улице — которую он видел первый раз в жизни — вдруг повернулся ко мне и сказал:

— Сюда.

Не вопросительно. Утвердительно, как говорят «правильно».

Я сначала не понял. Потом посмотрел в окно и увидел, что мы выезжаем на площадь с другой стороны — но выезжаем к тому же самому месту, и киоск, который обычно бывает справа, теперь оказался слева, и вся площадь была как бы вывернута.

А он сказал «сюда» за квартал до неё.

Вечером я достал тетрадь.

Дальше был месяц, за который мы с женой перебрали три года записей заново, и вот что оттуда вышло.

Я всегда записывал случаи по тому, что мы сделали: переставили комод, сдвинули диван, перенесли ребёнка. От этого получалось, что поведение хаотично: иногда мелочь — катастрофа, иногда большая перемена — ничего.

Мы стали заносить иначе: что осталось прежним.

И всё село на место с такой аккуратностью, что стало не по себе.

Комод на полметра — проход остался, расстояние до кровати осталось, стена осталась стеной. Сохранилось почти всё.

Диван на ладонь — «вплотную» исчезло. Это было единственное отношение, которое диван держал, и оно исчезло целиком.

Новая комната — не сохранилось ничего. Мы старательно расставили всё «похоже», и в этом была наша главная ошибка: похоже — это для нас. Свет шёл с другой стороны, углы стояли иначе, дверь открывалась в другую сторону.

Автобус в объезд — сохранилось всё. Ни одно отношение внутри места назначения не изменилось. Менялся только путь, а путь его никогда и не держал.

Жена сформулировала это первой, вечером на кухне, и сформулировала лучше меня.

— То есть ему всё равно, откуда идти. Ему важно, во что придёшь.

— Да.

— А нам наоборот, — сказала она. — Мы помним дорогу, а на площади можем растеряться.

Мы проверили это специально, и три раза из трёх он вёл нас с новой стороны точнее, чем я сам.

Потом пошли другие подтверждения, и они были уже не про комнаты.

Он различал людей не по лицам. Это мы знали давно, но раньше считали дефицитом. Теперь стало видно, чем он их различает: походкой, звуком шагов, тем, с какой стороны человек входит, и тем, где этот человек обычно оказывается. Тёщу он узнавал безошибочно — она всегда входила и сразу садилась на один и тот же стул.

Однажды она села на другой, и он полчаса не подходил.

Со временем было то же. Он не понимал «через час», но точно знал последовательность: после каши — обувь, после обуви — автобус. Сбей порядок — рухнет всё; сдвинь время на два часа, сохранив порядок, — он не заметит.

И еда. Он не ел ничего перемешанного. Не потому, что вкус: гречку он ел, котлету ел, гречку с котлетой на одной тарелке — нет. Я долго считал это капризом, а это было ровно то же самое. Гречка-в-своей-части-тарелки и гречка-вперемешку — не одно блюдо в двух видах. Это два разных отношения. Второго он не знал.

Дефектолог, узнав, сказала простую вещь, которая стоила всех наших вычислений:

— А вы попробуйте его предупреждать. Не «сейчас пойдём», а рисуйте.

Мы стали рисовать. Четыре квадрата на листе: каша, обувь, автобус, дверь кабинета. Он смотрел на лист и шёл.

Истерики почти прекратились за две недели.

Здесь надо сказать главное.

Правило работало. Мы получили ключ, и жизнь стала легче, и это был лучший год из первых семи. Мы больше не двигали мебель, рисовали квадраты, не перемешивали еду, предупреждали о перестановках, ставили тёщин стул на место.

Но ключ открыл ровно одну дверь: мы научились не ломать ему мир.

Как этот мир выглядит изнутри, мы не узнали ни на грамм.

Я знал, что «вплотную» для него — отдельная вещь. Я не знал, чем оно ему дано. Не знал, видит он его, слышит или как-то ещё — и подозревал уже тогда, что все три слова здесь неточны и что дело вообще не в органах чувств.

Жена сказала об этом яснее, чем я, и ровно тогда, когда я в очередной раз радовался очередному подтверждению.

— Ты понял, как он устроен, — сказала она. — Но ты же хотел не этого.

— А чего я хотел?

— Ты хотел знать, как ему.

Я сказал, что это одно и то же.

Она сказала:

— Нет. Я знаю, как устроен телевизор. Ему от этого никак.

12. Он узнаёт то, чего мы не узнаём

Про то, что он умеет, я начал записывать отдельно и с опозданием в четыре года.

Первую запись сделал не я, а она. Просто открыла новую тетрадь, потоньше, и написала на обложке: «Что у него есть». Я увидел и почувствовал укол: за всё время мне это в голову не пришло.

Первое, что туда попало, — темнота.

Он ходил по дому без света и не натыкался. Не осторожно, как ходят в темноте, а обычным шагом. Это мы знали и объясняли привычкой: мало ли, выучил комнату.

Проверили. Я расставил в коридоре три стула не так, как они стояли обычно, и выключил свет.

Он обошёл все три.

Я стоял в дверях и не понимал, что я сейчас видел. Выучить это он не мог: стулья я поставил десять минут назад, его при этом не было.

Проверяли потом долго и нашли ответ, который меня разочаровал и одновременно оказался важнее всего.

Он слышал.

Не в том смысле, что стул скрипнул. Комната звучит по-разному, когда в ней пусто и когда в ней стоит стул: любой звук — шаги, дыхание, шорох одежды — возвращается иначе. Мы этого не различаем, потому что нам незачем: у нас есть глаза. Слепые люди этим пользуются, это известно, называется эхолокацией, и ей специально учат.

Его никто не учил.

Дальше пошло остальное, и оно всё было из того же ряда.

Вода в чашке. Двести или двести пятьдесят — он отличал, не поднимая. Я долго думал, что по уровню, потом закрыл чашку сверху листом — отличал. Оказалось, по звуку струи, пока я наливал: чашка, наполняясь, меняет тон, и он этот тон держал в голове как метку.

Мать за минуту до калитки. Тут ответа мы так и не нашли точно. Скорее всего — мотор: она подъезжала на одной и той же машине и глушила её за домом соседей. Но проверить не удалось, потому что однажды она пришла пешком, и он всё равно встал за минуту.

Ветка на яблоне. Это я до сих пор не знаю чем объяснить, и не хочу придумывать. Он простоял лбом к коре минут двадцать, а через два дня ветка упала. Дерево наверняка как-то трещало; я не слышал.

И была вещь, которая меня задела сильнее прочих, потому что она была не про звук.

Он знал, когда я вошёл в дом. Всегда, из любой комнаты, при закрытой двери. Жена — не всегда. Разница между нами была в том, что я ставил ботинки слева от порога, а она справа, и он никогда не путал.

Но однажды я поставил их справа, специально, тихо, и он всё равно вышел ко мне и не ошибся.

Я спросил дефектолога, что бы это могло быть.

— Запах, — сказала она сразу. — Почти наверняка запах. Мы его вообще не берём в расчёт, а у многих детей это главный канал.

Она была права. Мы поставили опыт с двумя одинаковыми футболками — моей ношеной и новой из пакета, — и он подошёл к ношеной не глядя.

Здесь я хочу остановиться и сказать то, что понял позже и не сразу.

Каждый раз, находя объяснение, я испытывал облегчение. Эхо — понятно. Тон струи — понятно. Запах — понятно. Ничего сверхъестественного, всё объяснимо, физика, физиология, можно спать спокойно.

А потом до меня дошло, что облегчение это ровно того же сорта, что от диагноза. Я объяснял себе его — чтобы перестать смотреть.

Ни одно из этих объяснений не отвечало на вопрос, который я вроде бы задавал.

Допустим, эхо. Оно сообщает ему, что в коридоре стул. Хорошо. Но чем оно ему дано? У меня, когда я вижу стул, есть стул — тёмная масса с ножками, вот она, я на неё смотрю. А у него?

Я пробовал представить. Пробовал закрывать глаза и ходить по дому, слушая. Слышал, конечно, разницу — у стены звук другой. Но эта разница приходила ко мне как сведение: ага, стена. Стены не было. Был я-который-догадался-о-стене.

У него — была.

Он не догадывался о стуле. Он его обходил так же не думая, как я обхожу стол при свете.

И я вдруг понял, что задаю неправильный вопрос. Я всё время спрашивал, чем он это узнаёт — то есть каким органом, по какому каналу. А спрашивать надо было другое: в каком виде ему это дано.

На этот вопрос ни эхо, ни запах, ни тон струи не отвечают вообще. Они говорят, откуда пришёл сигнал. Они ничего не говорят о том, чем этот сигнал стал, дойдя.

Я сказал об этом жене.

— Ну хорошо, — сказала она. — А тебе — чем дано?

— Мне? Я вижу.

— Что значит видишь?

Я начал объяснять и остановился на второй фразе.

Потому что объяснить, что значит видеть красное, нельзя. Я могу сказать про длину волны. Могу сказать, что это цвет крови и помидора. Могу сказать, куда смотреть. Но передать само красное — то, как оно выглядит, — нельзя ничем.

И если я не могу передать это ей, живому человеку с такими же глазами, то каким образом я собирался узнать, чем ему дан стул в темноте.

— Значит, никак, — сказала она.

— Выходит, никак.

Она подумала и сказала:

— Ну и ладно. Зато мы знаем, что он его обойдёт.

Она на этом успокоилась. Я — нет.

Я в тот вечер впервые подумал то, что потом три года не отпускало: между нами не стена непонимания. Стену можно пробить, за ней всё равно комната. Между нами разные формы, в

которых мир вообще приходит, — и передать форму нельзя, можно передать только сведения о ней.

А значит, если я хочу к нему попасть, идти надо не вверх, к нему, и не вбок, через объяснения.

Идти надо вниз. Туда, где формы ещё нет.

13. И не узнаёт того, что для нас очевидно

Через неделю после разговора про красное я вышел с ним в магазин, и он потерялся.

Не в магазине — в четырёх метрах от подъезда, на своей улице, по которой ходил шесть лет.

Была зима, ночью выпал снег, дворник его сгрёб, и у подъезда появилась куча — обычная, по колено, в стороне от дорожки. Мы вышли, он сделал два шага и встал.

— Пойдём.

Он не пошёл.

Я подождал. Потом взял за руку и провёл мимо кучи, и он шёл, упираясь, и всю дорогу до магазина оглядывался.

Обратно он отказался идти совсем. Сел на бордюр в тридцати метрах от дома и сидел, и я стоял рядом с пакетом и понимал, что мы не дойдём.

Помогло то, что я догадался обойти с другой стороны, через двор. Оттуда он пошёл сам.

Дома я записал это в первую тетрадь, в старую, куда писал про потери, и заметил, что записываю впервые за полтора года.

Дальше стал набираться список, и список был важнее всего, что мы нашли раньше.

Куча снега — не прошёл. Та же улица через два дня, когда кучу убрали, — прошёл нормально.

Стакан на столе, накрытый салфеткой, — для него стакана нет. Не «спрятан», а нет. Снимаешь салфетку — есть. Это мы знали давно и списывали на возраст; к шести годам это проходит у всех, у него не прошло.

Его собственная куртка на чужом крючке — не его куртка. Он к ней не подходил. Перевесишь на свой крючок — сразу берёт.

Я в зимней одежде на улице и я дома — тут было сложнее, и я не уверен до сих пор. Он меня узнавал, но не сразу, с паузой. А один раз, когда я пришёл с работы в чужой куртке — свою залил, дали чью-то, — он подошёл и остановился на середине комнаты, и стоял, пока я не разделся.

И самое яркое: зеркало.

В ванной зеркало висело над раковиной, и он им пользовался нормально — умывался, смотрел. Мы поменяли зеркало на большее, повесили на то же место, на ту же высоту.

Он перестал в него смотреть. Совсем. Полгода.

Жена, когда я ей всё это прочёл подряд, сказала:

— Ну и что здесь нового? Он же всегда так.

— Новое то, что это не другой список.

— В смысле?

Я показал ей две страницы рядом. На одной — что он умеет: темнота, вода, шаги, запах. На другой — чего не может: снег, салфетка, крючок, зеркало.

— Это одно и то же правило, — сказал я. — С двух сторон.

И это было так.

Всё, что он умел, он умел потому, что держал отношения, а не вещи. Стул в темноте — это не предмет, который надо увидеть, это изменение в том, как комната отзывается. Вода в чашке — не количество, а тон. Мои шаги — не я, а моё место в доме.

И всё, чего он не мог, он не мог по той же причине. Стакан под салфеткой — исчезло отношение «стакан-на-столе-открытый», появилось другое. Куртка на чужом крючке — другое

отношение, другая куртка. Куча снега — новое отношение прямо на пути, и она отменила весь остальной двор, потому что двор был тем, чем он был, только пока в нём не было кучи.

А зеркало — крупное отношение, в которое он сам входил. Он смотрел в него не как в вещь. Он смотрел в определённое соотношение себя, раковины и рамы. Новая рама — нет соотношения. И не в чем смотреть.

Это была не смесь сильных и слабых сторон. Это была одна работающая система, у которой всё имело цену.

Он платил за темноту — снегом. За воду — салфеткой. За шаги — курткой.

Я сидел с этими двумя страницами долго и думал вот о чём.

У нас всё наоборот и стоит нам ровно столько же.

Мы держим вещи. Стакан для меня — стакан, накрой его хоть чем. Куртка моя на любом крючке. Я знаю, что предметы не исчезают, когда их заслонили, и это делает мой мир устойчивым.

И за эту устойчивость я плачу тем, что не слышу комнату.

Я хожу по своему дому пятнадцать лет и не знаю, как он звучит. Мне не нужно: у меня есть глаза, и вещи в моей голове держатся сами, независимо от того, откуда я смотрю. Отношения для меня — второстепенное, я их почти не замечаю.

Он их замечает, потому что они у него единственное, что есть.

Я сказал это жене, и она ответила короче и лучше:

— То есть мы с ним не хуже и не лучше. Мы просто разное купили за одни деньги.

— Примерно.

Она помолчала.

— Тогда почему всё равно кажется, что ему хуже?

Тут я задумался, и ответ мне не понравился, но он был честный.

— Потому что мир построен нами. Двери, вывески, лица, светофоры, слова — всё это рассчитано на тех, кто держит вещи. Если бы мир строили такие, как он, слепли бы мы.

И этот разговор я вспомнил через много лет, когда всё уже кончилось, — потому что в нём была одна ошибка, и она мне дорого обошлась.

Она сказала: разное купили за одни деньги. Мне тогда казалось, что это вежливая формула равенства, и я её повторял потом годами.

Я не заметил, что она означает и кое-что другое: если у нас разная валюта, то дна, на котором мы сочтёмся, может не быть вовсе.

14. Фигурка, пальцы и движение пальцев —

одно

Фотография лежит у меня до сих пор. Обычная, с телефона, распечатанная на принтере, потому что мне зачем-то понадобилось держать её в руках.

Ему на ней семь лет. Он сидит на полу, перед ним разложены фигурки — динозавры, штук двенадцать, из набора, который подарили на день рождения. Он держит одного в правой руке, за туловище, тремя пальцами. Смотрит не на него, а чуть в сторону.

Я снял это, потому что в тот день впервые увидел, как он играет, и не понял ничего.

Он раскладывал их не по росту, не по цвету, не по видам. Я пробовал угадать систему час и не угадал. Потом попробовал вмешаться: взял одного и поставил в конец ряда.

Он вынул его оттуда и положил отдельно, в стороне.

Я поставил обратно. Он снова вынул.

Тогда я сделал иначе: не стал ставить сам, а дал ему фигурку в руку. Он поставил её в тот же самый конец ряда, куда ставил я, — и она осталась.

Одно и то же место. Из моей руки — не годится. Из своей — годится.

Я тогда решил, что это про контроль, и записал: «не принимает вмешательства в игру». Это было неверно, и неверность выяснилась через месяц, и выяснилась случайно.

Мы сидели на полу вдвоём, он играл, я рядом читал. Он протянул мне динозавра. Я взял его — и он тут же потянулся забрать обратно, и я, не думая, не отдал, а подержал и вернул. Тут произошло странное: он взял его не как раньше. Он взял его за то же место, тремя пальцами, точно так же, как держал до того, как отдал мне. И только тогда поставил в ряд.

Я попробовал ещё раз и специально вернул ему фигурку другим боком.

Он её положил отдельно, к тем, которые «не годятся».

Я перевернул её обратно и подал так, как он держал.

Поставил в ряд.

Мы проверяли это потом с женой недели три, и результат был устойчивый: важно было не то, какая фигурка и куда, а то, каким хватом она к нему пришла.

— Он их не по виду различает, — сказала жена. — Он их различает вместе с рукой.

Это она сказала, и это была лучшая фраза за все годы.

Дальше мы расписали это подробно, и вышло следующее.

Динозавр, взятый тремя пальцами за туловище, и тот же динозавр, взятый за хвост, — для него не одно и то же. Это два разных объекта. Не две позы одного предмета, а два разных.

Более того: динозавр, взятый тремя пальцами и поднятый, и он же, взятый теми же пальцами и повёрнутый, — тоже разные. Движение входит внутрь вещи.

То есть значимая единица у него не «предмет». Значимая единица — «предмет плюс рука плюс то, что рука с ним делает», всё вместе, одним куском.

Я попробовал понять, что это значит, и понял на своём примере.

Когда я беру чашку, я беру чашку. Рука — моя, чашка — её, они разные вещи, и то, что я держу её так или эдак, чашки не касается. Я даже не замечаю, каким хватом её взял.

У него нет отдельно вещи и отдельно руки. Есть целое: вот-это-взятое-вот-так.

И тогда стало понятно всё, что было раньше.

Почему он не подавал лягушку, когда я просил. Я говорил «лягушка», имея в виду предмет. Предмета не было. Была лягушка-лежащая-справа, была лягушка-в-моей-руке, была лягушка-которую-он-держит-за-лапу, и на слово «лягушка» откликалась не всякая.

Почему он подавал её безошибочно, когда я перед этим брал её в руки и пищал. Я тем самым показывал ему, о какой именно речь.

Почему он терялся, когда я его переставлял. Он сам входит в эти единицы. Переместив его, я менял руку — а вместе с рукой менялось всё, что было ею взято.

Я написал в тетради тем вечером одну фразу, и, перечитывая через годы, вижу, что дальше этой фразы, в сущности, не ушёл:

«У нас вещи и действия отдельно. У него — одно».

А потом была сцена, из-за которой я эту фотографию распечатал.

Я, окрылённый, решил сделать ему приятное. Взял всех двенадцать динозавров и расставил сам — точно в том порядке, в каком он их ставил накануне. Я запомнил порядок, я специально сверился с фотографией. Всё было идеально.

Он вошёл, посмотрел на ряд и не подошёл к нему.

Ни в тот день, ни на следующий. Он играл с машинками, а динозавры так и стояли идеальным рядом, пока я сам их не смешал.

Когда я их смешал, он через полчаса подошёл и стал выкладывать заново.

Я сидел и смотрел, как он это делает, и мне было очень плохо — так, как не было даже в день диагноза.

Потому что я в тот момент понял, что сделал.

Я воспроизвёл результат. Все двенадцать фигурок стояли ровно там, где он их ставил.

Но ряд был не его. В его ряду каждая фигурка была взята определённой рукой определённым хватом и поставлена определённым движением, и всё это в неё входило. А я поставил свои — похожие внешне и совершенно чужие по существу.

Я скопировал буквы и не написал ни одного слова.

Тогда впервые и пришла мысль, которая потом стала замыслом. Если разница между нами не в том, что мы видим, а в том, из чего у нас вообще сложены вещи, — то никакое усердие, никакое наблюдение, никакая любовь меня к нему не приведут.

Наблюдая, я всегда буду собирать его мир из своих кусков.

Значит, надо избавиться от кусков.

15. Слепые пятна: чего он не видит никогда

Я долго не хотел писать эту главу, а надо было писать её первой.

К восьми его годам у нас с женой появилась привычка, за которую мне стыдно. Мы стали хвастаться. Не вслух, не при чужих — между собой. Он находил в темноте, он слышал машину за квартал, он определял воду по звуку, и мы сидели вечерами и пересказывали друг другу эти случаи, как пересказывают чужие успехи, гордясь.

Мне нравилось думать, что у него есть своё, чего нет у нас. Это утешало сильнее любых занятий.

А потом мы поехали в зоопарк, и я увидел, чего у него нет.

Он смотрел на жирафа четыре секунды и отвернулся.

Не испугался, не устал. Просто отвернулся и пошёл к урне, которая стояла рядом, и стал смотреть на урну. Урна была обычная, зелёная, с крышкой.

Он простоял возле неё двадцать минут.

Жена сначала смеялась, потом перестала.

— Слушай, — сказала она. — А он вообще понял, что это жираф?

Он не понял. И не потому, что не знал слова. Он не собрал его.

Жираф стоял в семи метрах, целиком в поле зрения, и для того, чтобы его увидеть, надо было взять всё сразу — ноги, шею, пятна, голову наверху — и сложить в одно животное. Это делается мгновенно и даром, и я никогда не думал, что это вообще делается.

Он этого не делал. Ему нужно было отношение, а с семи метров жираф ни к чему не относился. Урна относилась: она стояла у скамейки, вплотную.

С этого началась вторая тетрадь, и я вёл её честнее первой.

Он не видел далёкого. Всё, что дальше нескольких метров и ни к чему не примыкает, для него отсутствовало. Не было размытым — отсутствовало. Горы, поле, море, небо: мы возили его на море в девять лет, он играл в песок у самой кромки и ни разу не посмотрел на воду дальше прибоя.

Он не видел нового. Совсем новое, ни с чем не связанное, проходило мимо: не пугало, не привлекало, его просто не было. Он замечал вещь, когда она вступала в отношение с уже известным. Незнакомую игрушку он мог заметить через два дня — когда она оказывалась рядом с его коробкой.

Он не видел целого из частей. Пазл он не собирал никогда, и не потому, что трудно: он раскладывал детали по краям стола ровными рядами и был доволен. Картинка из деталей для него не возникала. Рисунок человека — палочки и кружок — оставался палочками и кружком.

Он не видел одинакового в разном. Своя чашка на столе — своя чашка. Своя чашка в раковине — уже другая. «Такой же» для него не существовало; существовало только «этот самый», и то лишь пока на месте.

И он не видел лиц.

Это стоит сказать прямо, потому что здесь я дольше всего себя обманывал. Он узнавал нас, но не по лицам: по походке, по голосу, по месту, по запаху. Я проверил это жестоким способом, о котором жалею. Записал на телефон её голос, включил в другой комнате, а она в это время стояла перед ним молча.

Он пошёл на голос.

Он прошёл мимо матери, которая стояла в полуметре и смотрела на него, и пошёл к телефону.

Она потом плакала на кухне, а я сидел рядом и не знал, что сказать, потому что я это придумал и я это включил.

И вот вывод, ради которого всё это записано.

Каждое его умение и каждая его слепота — это одно и то же. Не два списка, а один механизм, повёрнутый то одной стороной, то другой.

Он держит отношения — поэтому слышит комнату и не видит жирафа.

Он не имеет вещей — поэтому не обманывается салфеткой и не узнаёт свою чашку в раковине.

Он собирает мир из «взятого вот так» — поэтому чувствует, как дерево трещит под лбом, и не может сложить кружок с палочками в человека.

Убери слепоту — и умение исчезнет вместе с ней. Это не болезнь, наросшая на способности. Это цена способности, и она не отделяется.

Ровно это я и хотел бы сказать тем, кто ищет в таких детях дар.

Дара нет. Есть другая раскладка, в которой за каждое приобретение уплачено, и уплачено дорого, и счёт выставляет не природа, а сама форма, в которой ему дан мир: всякая форма что-то показывает и ровно поэтому что-то скрывает.

Это относится и ко мне.

Я вижу жирафа целиком, с семи метров, даром, и мне за это выставлен свой счёт: я пятнадцать лет хожу по дому и не знаю, как он звучит. Я просто никогда не замечал, что плачу, — потому что тем, кто платит наравне со всеми, счёт не приходит.

В тетради в тот вечер я написал две строчки, и они оказались поворотными.

«У него форма показывает отношения и скрывает вещи. У меня — наоборот».

И ниже:

«Значит, вопрос не в том, у кого лучше. Вопрос в том, есть ли что-нибудь под формой».

16. Он не оракул

Женщина эта появилась у нас через знакомых, и я сам её позвал.

Ему было девять. Мы к тому времени прошли уже все круги: диету пробовали, микрополяризацию пробовали, две недели он ходил в шлеме с датчиками, и всё это не то чтобы не помогло — оно ничего не изменило вообще, ни в какую сторону.

Она пришла, посидела с ним двадцать минут и сказала жене, что ребёнок видит тонкий план.

— Он не отсюда, — сказала она. — Он смотрит сквозь.

Жена слушала и кивала. Я стоял в дверях и молчал, и молчал потому, что мне хотелось, чтобы это была правда.

Вот в чём надо признаться честно. Я тогда был готов. Годы наблюдений, тетради, схемы отношений — всё это устало, и внутри уже лежала заготовка: у него другое устройство, значит, ему открыто что-то, что закрыто нам. От «другое» до «высшее» один шаг, и шаг этот делается сам, без участия.

Она ушла, оставив рекомендации, и я их даже не выбросил сразу.

А через три дня был случай с ключами.

Жена потеряла ключи, искали полдня, весь дом перевернули. Он ходил за нами и в какой-то момент подошёл к холодильнику и постучал по дверце.

Ключи были в холодильнике. Она положила их туда утром, с пакетом.

Я тогда сел на кухне и просидел минут двадцать, и мысли у меня были совершенно определённые.

Потом я стал проверять. Потому что я по-другому не умею, и это, наверное, единственное, за что мне не стыдно во всей этой истории.

Я прятал предметы сам, при нём и без него, в двадцати местах, сорок раз за три недели.

Он нашёл четыре. Все четыре — те, что я прятал при нём, и все четыре были в тех местах, куда он мог слышать, как я иду.

Тридцать шесть раз — ничего.

Тогда я вернулся к ключам и восстановил тот день. Жена утром пришла из магазина, разбирала пакеты, он был на кухне. Она клала продукты в холодильник, гремя ключами в руке. Он слышал, как звук ключей ушёл внутрь холодильника и оттуда не вышел.

Всё.

Дальше я проверил остальное из своей копилки, и копилка развалилась.

Ветка на яблоне. Я стал специально водить его к деревьям и стоять. Он прижимался лбом к четырнадцати деревьям за лето. Ни с одного из них ничего не упало. Одна ветка из пятнадцати — это не предвидение, это то, что происходит с деревьями.

Мать за минуту до калитки. Я поставил опыт: она приезжала на такси, на разных машинах, глушила у самого дома. Он не встал ни разу из шести.

Вода в чашке. Тут всё оказалось верно, но потолок обнаружился быстро: пока я наливаю — отличает, налито заранее — нет.

И последнее, самое обидное.

Мне всегда казалось, что он чувствует моё настроение. Приходишь с работы разбитый, а он подходит и садится рядом, и молчит, и от этого делается легче. Я это ценил больше всего, что было в нашей жизни.

Я проверил и это, и тут мне стоило остановиться, но я уже не мог.

Оказалось, он подходит не к настроению. Он подходит, когда я сажусь на диван и не включаю телевизор. Когда я, разбитый, включал телевизор, он не подходил.

На этом я закрыл тетрадь, и мне было погано до самого вечера.

Вечером сказал жене. Она выслушала и спросила:

— И что теперь?

— Ничего. Просто он не чувствует, как мне.

— А почему он тогда садится?

Я сказал, что не знаю.

— А я знаю, — сказала она. — Ты сидишь тихо. Он приходит к тихому.

И потом добавила то, из-за чего эта глава вообще написана:

— Слушай. А тебе не всё равно, почему он приходит?

Мне было не всё равно, и в этом весь вопрос.

Мне было нужно, чтобы он приходил ко мне. А он приходил в тишину.

Я долго с этим жил и не мог разобраться, пока однажды не сформулировал так: я хотел, чтобы у него было объяснение, в котором есть я. Оказалось, что во всех его объяснениях меня нет. Есть звук, тишина, место, запах, порядок.

Это не значит, что он меня не любит. Он на руках у меня засыпал до одиннадцати лет и не засыпал ни у кого больше, и этого не подделаешь.

Это значит другое: то, из чего он собирает мир, не содержит меня как отдельную величину. Я вхожу в его мир, как входит ботинок слева от порога.

С того дня в тетради появилась строка, которую я потом вписывал ещё дважды.

«Проверять всё, что радует».

Женщине я перезвонил и отказался от занятий. Она была не злая и, кажется, искренняя. Она сказала: вы просто закрылись, и мне жаль вашего ребёнка.

А мне было жаль, что она не понимает простой вещи.

Если бы он видел тонкий план, он не был бы моим сыном — он был бы устройством для видения тонкого плана.

Дар делает человека функцией дара. Ты смотришь на него и видишь не мальчика, который любит, когда ему трут спину мочалкой, а проводника. И тогда всё, что в нём не проводник, становится помехой.

За девять лет я успел примерить на него не одну такую рамку. Больной ребёнок. Особенный ребёнок. Ребёнок с другим восприятием. Ребёнок, который видит истину.

И каждая рамка объясняла его и делала одно и то же — избавляла меня от необходимости смотреть.

Теперь у меня осталась одна, последняя, и она была лучше прочих: у него другая форма, и у меня другая, и обе платят.

Она была верной.

И она тоже сделала своё дело — из неё через полгода вырос замысел, из-за которого всё и случилось.

17. Мы не можем встать на его место

Последний год перед замыслом я потратил на то, чтобы попробовать всё честное, что оставалось. Их было четыре способа, и я прошёл их по очереди, и каждый провалился по-своему.

Первый — воображение.

Самый простой и самый обманчивый. Я ложился вечером и пробовал представить: вот комната, в ней нет вещей, есть только отношения. Вплотную. Между. Под.

Получалось легко и красиво.

А потом я замечал, что представляю комнату, в которой стоят вещи, и мысленно провожу между ними линии. То есть я брал свой мир и рисовал поверх него его схему.

Убрать вещи из воображения нельзя. Попробуйте вообразить «вплотную» — без того, что к чему-то приложено. У меня не вышло ни разу. Всегда оказывалось, что я воображаю два предмета и промежуток, которого нет.

Второй — лишить себя канала.

Тут я зашёл дальше и сделал глупость, о которой жена до сих пор вспоминает.

Я завязал глаза и прожил так субботу. Полностью, от подъёма до сна.

Первые часы было интересно. К обеду я начал слышать дом: в коридоре звук короче, в кухне выше, у окна воздух идёт иначе. Я даже обрадовался — вот оно, вот я приближаюсь.

К вечеру радость прошла.

Я всё время собирал комнату заново, по кусочкам, и уставал так, что к шести у меня болела голова. А главное — то, что я собирал, было моей же комнатой. Я знал, где стоит стол, и слышал его именно там, где знал.

И когда жена, не предупредив, отодвинула стул на полметра, я в него врезался коленом.

Он бы обошёл.

Разница между нами в тот момент была не в тренировке и не в остроте слуха. У него звук приходит как место. У меня он приходит как звук, из которого я вычисляю место, а вычисление занимает время и требует, чтобы я уже знал комнату.

К ночи я снял повязку и почувствовал такое облегчение, что стало стыдно. Я весь день изображал его мир и весь день ждал, когда это кончится, а ему не кончается.

Третий — спросить его самого.

К десяти годам он говорил уже прилично. Короткими фразами, по делу, но говорил.

И вот с этим связан разговор, который я записал слово в слово в тот же вечер.

— Что ты видишь, когда смотришь в окно?

— Окно.

— А за окном?

Он подумал.

— Там дальше.

— А что там дальше?

— Дальше.

Я попробовал иначе.

— Когда темно и ты идёшь по коридору, ты как понимаешь, где стул?

— Слышу.

Я обрадовался.

— А как ты его слышишь? Он какой?

Он посмотрел на меня — и посмотрел именно на меня, что бывало редко, — и сказал:

— Он стул.

Я спрашивал ещё и ещё, и на все вопросы получал одно и то же, только другими словами.

И я понял, что делаю, только когда дошёл до последнего.

— А красный — он какой?

— Красный.

Ровно так я сам ответил бы, если бы меня спросили. Что значит видеть красное? Это значит видеть красное. Больше сказать нечего — ни ему, ни мне, ни философу, ни физику.

Я спрашивал его о том, о чём нельзя ответить в принципе. Не потому, что он не умеет говорить. А потому, что слова передают сведения о форме и никогда не передают саму форму.

Четвёртый — наука.

Я полез в литературу и читал полгода. Сенсорная интеграция, предиктивное кодирование, работы про восприятие без объектной константности, про мозг как машину предсказаний.

Многое было интересно, кое-что описывало его точно, и одну работу я даже распечатал и носил с собой.

Но все они отвечали на вопрос «как это работает». Ни одна не отвечала на вопрос «как это ему».

Я довольно быстро понял, что это не недоработка науки. Это её устройство. Она описывает процесс со стороны, и всякое её описание — описание третьего лица. А то, что мне было нужно, существует только в первом.

И вот в конце этого года, перебрав все четыре, я сформулировал то, с чего надо было начинать.

Записал двумя строчками, и они стоят в тетради отдельно, обведённые.

«Чужую форму нельзя надеть. Её можно только иметь».

И ниже:

«Значит, к нему не поднимаются».

Я показал это жене.

Она прочла, положила тетрадь и долго молчала, а потом сказала фразу, которую я тогда пропустил мимо ушей и вспомнил только через три года.

— Ну и хорошо.

— Что хорошего?

— То, что ты перестанешь.

— Я не перестану.

— Перестанешь, — сказала она. — Потому что дальше некуда.

Что-то во мне щёлкнуло, и я услышал собственные слова прежде, чем успел их обдумать.

— Не некуда. Вверх некуда. А вниз можно.

Она подняла глаза.

— Куда вниз?

— Если мы не можем встретиться в его мире и не можем в моём, потому что у нас разные формы, — значит, надо туда, где формы ещё нет. Снять с себя всё, что делает мой мир моим. Имя. Цвет. Звук. Край. До самого низа. И там встретиться.

Она смотрела на меня несколько секунд.

— Я ничего не поняла, — сказала она. — Ты сейчас про что вообще?

Я и сам ещё не знал.

Знал только, что впервые за десять лет у меня появилась дорога, по которой можно идти, — а не стена, в которую я упираюсь.

Мне было сорок один год, и я был совершенно уверен, что под всеми нашими формами есть общее дно.

Мысль, что его может не быть, мне тогда в голову не пришла ни разу.

ЧАСТЬ III. ЗАМЫСЕЛ

18. Если не можем встать — можем спуститься

Замысел, если очистить его от всего, что наросло потом, держался на одной посылке.

Мир один, а способы его получать разные.

Я стою у яблони и вижу дерево. Он стоит у той же яблони и имеет что-то другое. Но яблоня-то одна. Она не двоится оттого, что нас двое. Значит, существует сама яблоня — та, которая под всеми способами её получать, — и если добраться до неё, мы окажемся у одного и того же.

Тогда это казалось мне не философией, а простой арифметикой.

Проверить я решил на себе, потому что больше было не на ком.

План был такой. Я беру одно место — участок за домом, который знаю до последней травинки. Беру то, что на нём есть: яблоню, траву, собаку, скворца, свою руку на коре. И начинаю по одному снимать с себя всё, чем это дано. Имя дерева. Его назначение. Цвет. Звук. Твёрдость. Край. Отдельность.

Снимаю — и смотрю, что остаётся.

Если посылка верна, то по мере снятия должно происходить одно: мир должен становиться беднее на мои добавки и богаче на то, что есть само по себе. В конце останется голая яблоня — не моя, не его, просто яблоня.

Общее дно.

Я объяснил это жене на кухне, в январе, и объяснял часа два. Она слушала внимательно, без насмешки, и задала три вопроса, и все три были умнее моего ответа.

Первый.

— Ты хочешь встретиться с ним в месте, где нет ни тебя, ни его?

— Не так. В месте, где нет ни моих различений, ни его.

— А кто там будет?

Я сказал: мы оба, только без наших форм.

Она сказала: то есть никто.

Я ответил, что это игра слов, и на том закрыл вопрос. Закрыл неправильно.

Второй.

— Допустим, ты дошёл до этой самой яблони, какая она сама по себе. Дальше что? Ты его туда за руку приведёшь?

Я сказал, что дальше стану видеть иначе и смогу к нему подойти.

— Как? Он же там не будет. Он будет здесь, в комнате, и ему надо, чтобы ты диван не двигал.

На это я не ответил вовсе.

Третий вопрос она задала уже в дверях, уходя спать.

— А ты не боишься, что тебе просто хочется что-то делать?

Я обиделся и не спал полночи.

Обиделся потому, что это было правдой. Десять лет я вёл тетради, ставил опыты, читал, проверял, и у всего этого была одна общая черта: это было занятие. Пока я чем-то занят, я не сижу перед фактом, что мой сын мне недоступен.

Замысел был лучшим занятием из всех, какие я придумал. Он обещал не облегчение и не смирение, а решение.

Правило я установил себе одно, и оно было хорошее.

Снятым нельзя пользоваться тайком.

Если я снял имя — я не имею права дальше думать «дерево», подставляя вместо слова картинку. Если снял цвет — не имею права говорить «то зелёное». Всякий раз, когда я ловлю себя на том, что пользуюсь снятым под другим названием, спуск надо начинать заново.

Это правило, как выяснилось позже, было единственным по-настоящему ценным во всём предприятии. Оно и погубило замысел — но погубило честно, изнутри, а не потому, что я испугался или устал.

Начал я в феврале и первые три недели ничего не снимал. Я смотрел.

Я выходил к яблоне утром, до его подъёма, и стоял по двадцать минут, стараясь заметить как можно больше. Записывал, вернувшись: трещина от развилки, лишайник в трещине, надломленный лист изнанкой вверх, ухо собаки к дороге, скворец в ветвях, трава мокрая.

Это была подготовка, и она оказалась важнее, чем я думал.

За три недели я узнал о своём участке больше, чем за восемь лет, что мы там жили. И почти всё, что узнал, было о том, до чего мне раньше не было дела: с какой стороны сходит роса, куда ложится тень к полудню, как меняется звук, когда открыта калитка.

Я поймал себя на странном чувстве и записал его.

Я собирался снимать с себя своё, чтобы стать ближе к сыну. А пока просто стоял и смотрел — и делал ровно то, что он делает всю жизнь.

Он ведь тоже стоит у дерева по двадцать минут.

Мне тогда показалось, что это хороший знак и что я иду верно.

На самом деле это был первый звоночек, и звонил он о другом: чтобы быть ближе, надо было не снимать, а стоять рядом и смотреть на то же самое.

Но стоять рядом — не занятие. В стоянии рядом нет никакого решения.

А я хотел решить.

19. Дно, на котором все равны

Идея общего дна не моя, и это меня тогда очень поддерживало.

Я нашёл её в первую же неделю чтения и обрадовался, как радуются, когда в чужой книге написано то, что сам думаешь: значит, не сумасшедший.

Мысль простая, и она лежит в основании всей нашей науки.

Есть то, что вещь есть сама по себе, и есть то, чем она нам кажется. Форма, число, движение, протяжённость — это в самой вещи. Цвет, звук, вкус, тепло — это в нас: способ, которым мы получаем то, что в вещи есть на самом деле.

Галилей писал, что если убрать живое существо, то запахи, вкусы и звуки исчезнут, а формы и движения останутся. Локк развёл это на первичные качества и вторичные. Всё естествознание с тех пор идёт по этой линии и идёт успешно: чтобы получить закон, надо снять с явления то, что принадлежит наблюдателю.

Для меня это значило вот что.

Мой цвет и его отношения — вторичны. Это наши разные способы. Но под ними лежит первичное — то, что есть в самой яблоне независимо от того, кто на неё смотрит.

Первичное общее. Оно у всех одно, потому что оно не чьё.

Значит, дно существует не как мой домысел, а как то, на чём стоит вся физика.

Я написал это в тетради крупно, в рамке: «Первичное не принадлежит никому».

И дальше сделал шаг, который тогда казался естественным, а сейчас я вижу, где именно он был неверен.

Я решил, что первичное — это место встречи.

Из того, что первичное не принадлежит никому, я вывел, что оно принадлежит всем. Что это площадь, на которую можно выйти с разных улиц. Я и он идём разными дорогами, снимаем каждый своё, и приходим в одно место.

Ошибка здесь ровно одна, и она в предлоге.

«Не принадлежит никому» и «принадлежит всем» — не одно и то же. Это противоположные вещи. Но я этого не видел ещё три года.

Тогда же я стал искать, кто до меня спускался, и нашёл два рода людей, и оба меня воодушевили.

Первые — физики.

Они сняли уже почти всё. Цвет заменили на длину волны, звук на частоту, тепло на среднюю кинетическую энергию. И то, что у них осталось, работает: по их описаниям летают спутники и светятся лампы. Значит, снятие не разрушает мир, а очищает его.

Вторые — созерцатели.

Тут я читал вперемешку, без разбора: буддийские тексты о том, что вещи не имеют собственной природы; апофатику, где о Боге можно сказать только, чем Он не является; наставления, в которых человек садится и последовательно перестаёт называть.

И у них тоже снимают по одному. И тоже обещают, что в конце будет то, что есть.

Я обрадовался совпадению: с двух сторон, из лаборатории и из монастыря, идут к одному.

Но было и то, что мне не нравилось, и я это честно записал, хотя тогда не придал значения.

У физиков на дне не оставалось ничего, что можно было бы увидеть. Уравнение не имеет вида. Оно точное, оно предсказывает, но посмотреть на него нельзя.

У созерцателей на дне оставалось то, о чём они прямо говорили: сказать нельзя ничего.

То есть обе дороги вели вниз, и обе в конце сообщали одно и то же: здесь больше не на что смотреть.

Записано это было с припиской, которой я себя успокаивал: «значит, надо смотреть иначе».

Что означает «иначе», я не объяснил ни тогда, ни потом. У этой фразы не было содержания. Она нужна была только для того, чтобы не останавливаться.

Жене я про дно рассказал в конце февраля, и разговор вышел коротким.

— То есть ты хочешь дойти до того, какая яблоня на самом деле.

— Да.

— А он там будет?

— Он будет там же, если пойдёт своей дорогой. Дно общее.

Она домывала посуду и не обернулась.

— А почему ты решил, что оно вообще есть?

— Потому что яблоня одна.

— Ну да, — сказала она. — Яблоня одна. А смотрит на неё каждый сам.

Я тогда решил, что она просто не поняла, и объяснять не стал.

Сейчас, перечитывая свои записи того февраля, я вижу, что вся дальнейшая история была уже там, в одной оговорке, которую я сделал сам и не заметил.

Я написал: «Первичное — то, что остаётся, если убрать наблюдателя».

И тут же следом: «Там я и увижу его мир».

Увидеть то, что остаётся, если убрать наблюдателя.

Я перечитывал эту страницу сотни раз за три года и каждый раз проходил мимо.

20. Участок: яблоня, трава, скворец, собака,

рука

Прежде чем что-то снимать, надо записать, что есть.

Я это понял не сразу. Первую попытку я сделал наспех, в феврале, по снегу: вышел, попробовал снять имя с яблони и через минуту обнаружил, что снимать не с чего. Я знал, что там яблоня, и всё. Ни трещины, ни лишайника, ни того, что нижняя ветка идёт почти горизонтально. Дерево у меня было — в виде слова.

Пришлось ждать мая и начинать с описи.

Опись заняла шесть недель, и я привожу её здесь не полностью, но достаточно, чтобы было видно, с чем дальше велась работа.

Яблоня стоит в семи метрах от дома, чуть левее окна кухни. Посажена в апреле одиннадцать лет назад. Ствол до развилки в мой рост, дальше расходится на три ветви, из них правая толще двух других вместе.

Трещина идёт от развилки вниз. Вверху с палец, у земли в ладонь. Края у неё завёрнуты внутрь и твёрдые, как обод. В нижней трети трещины сидит лишайник, серо-зелёный, сухой на ощупь; после дождя он мягчеет и темнеет, и держится не за трещину, а за кору справа от неё.

Кора у земли почти чёрная, выше серая, на молодых ветвях гладкая, с красноватым отливом. Если провести ладонью сверху вниз — шершаво; снизу вверх — цепляется.

Нижняя ветка идёт почти горизонтально, на высоте груди. На ней в конце мая надломился лист — у самого черешка, не оторвался, и повис изнанкой вверх. Изнанка светлее лицевой стороны, почти белёсая, и в жару она сворачивается желобком.

Трава под деревом растёт двумя полосами. Ближе к стволу редкая, длинная, с мохом у корней. Дальше, где солнце, гуще и ниже. Утром обе полосы мокрые, но ближняя сохнет на час позже.

Собака ложится в тени, всегда боком к солнцу, всегда на одном и том же месте — там, где земля утоптана до глины. Ухо у неё, левое, повёрнуто к дороге и дёргается три-четыре раза в минуту. Дорога за забором, её не видно.

Скворец прилетает в мае, обычно после семи утра. Сидит на второй ветке слева, не на первой. Песня короткая, секунд на восемь, с щелчками в середине; потом пауза, потом снова.

Рука. Я кладу правую ладонь на ствол справа от трещины, на высоте груди. Кора холоднее руки утром и теплее к четырём. Под ладонью чувствуется, что ствол не круглый, а слегка гранёный.

Вот это и была опись. Я переписывал её три раза, каждый раз находя то, чего не видел.

И два наблюдения из этих шести недель стоят отдельно.

Первое.

Пока я описывал, я ни разу не поймал себя на усилии. Всё, что я перечислил, приходило ко мне даром: я не вычислял, что кора шершавая, и не выводил, что скворец поёт. Даже то, что я замечал впервые в жизни, — например, что ближняя полоса травы сохнет позже, — приходило готовым, как только я оказывался перед этим.

Ни одной секунды сборки. Ни одного промежутка, в котором перед глазами лежал бы материал, ещё не ставший вещью.

Я записал: «Работы не видно. Результат мгновенный».

Второе наблюдение сделал не я.

В середине июня он вышел ко мне на участок. Просто вышел, сам, чего почти никогда не делал, и встал рядом. Постоял, потом подошёл к яблоне и приложил ладонь к стволу — слева от трещины, не справа, как я.

Мы простояли так минут десять.

Потом он ушёл в дом.

Вечером я записал этот случай и рядом, в скобках, поставил вопрос, который тогда показался мне побочным: а что он сейчас имел.

Я ведь мог перечислить всё, что было у меня, — шесть недель описи. А про него я не мог сказать ни одного пункта.

И вот я стоял с этой описью, с шестью неделями работы, и в первый раз подумал то, чего лучше бы не думал в самом начале, потому что это надолго отбило мне охоту.

Всё, что я записал, было моим.

Не в смысле «субъективным» — я честно записывал, что есть. Но каждая строчка была устроена по-моему: дерево отдельно, трава отдельно, собака отдельно, у каждого своё имя и свои свойства. Я описывал набор вещей с признаками.

А если у него единицей идёт «взятое вот так», то моя опись не переводится на его язык ни одной строкой. Не потому, что он беднее. Потому, что она вообще не про то.

Две описи одного участка, не имеющие ни одного общего пункта.

Я закрыл тетрадь и подумал: тем лучше. Значит, тем нужнее спуск. Значит, надо снять с моей описи всё моё и посмотреть, что от неё останется — и вот это оставшееся уже будет общим.

Так я и приступил.

Первое, что я снял, было имя. Об этом стоит рассказать отдельно, потому что я ожидал, что это будет трудно, а трудным оказалось совсем другое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.